

УБИВИЦА

ИЗ ЗИМНЕГО САДА

ФЕРНАНДО АРРАБАЛЬ

Предисловие
Милана Кундеры

ФЕРНАНДО АРРАБАЛЬ
УБИВИЦА
ИЗ ЗИМНЕГО САДА

ACTUAL
ШОК

ЭКСМО

ACTUAL
ШОК

FERNANDO ARRABAL "LA TUEUSE DU JARDIN D'HIVER"

В окружении полчища муравьев, тараканов и стрекоз, наблюдая за ними и наслаждаясь живописной поэзией их насекомой любви, живет молодая девушка в странном жилище, которое она называет то Зимним Садам, то Небесным Сводом. Ее сосед — дед без одной ноги, ее друзья — тучный японец Кэнко, кладезь восточной мистической мысли, и Самори, преданный девушке со всей силой своей слабости. Опасной бритвой, подаренной ей когда-то на память самим Пабло Пикассо, она убивает своих случайных любовников в момент их наивысшего наслаждения. Другой художник, Сальвадор Дали, приглашает ее в свой замок для участия в гениальнейше извращенном, оргиастичнейше оргийном празднике...

Скандальный роман последнего дадаиста и сюрреалиста Фернандо Аррабаля «Убивца из Зимнего Сада» — впервые на русском языке с предисловием Милана Кундеры.

ISBN 5-699-15997-5



9 785699 159970 >

ОБ АВТОРЕ

Драматург, сценарист, кинорежиссер, прозаик и поэт Фернандо Аррабаль Теран родился в 1932 году в Мелилье (Испания). С 1955 года живет во Франции. Его отец, военный офицер, был приговорен к смертной казни в начале Гражданской войны за отказ участвовать в правом путче, но смертный приговор был заменен каторжными работами. Из своей последней тюрьмы он бежал в 1941 году и исчез навсегда. Таинственное исчезновение отца оставило отпечаток на всем последующем творчестве Аррабаля.

За свою творческую жизнь Фернандо Аррабаль поставил 7 фильмов, опубликовал свыше 100 пьес, 14 романов, 7 поэтических сборников и множество публицистических работ и книг в соавторстве с величайшими мировыми художниками XX века — Сальвадором Дали, Рене Магриттом, Роланом Топором, Антонио Саурой и другими. В 1962 году вместе с Роланом Топором и Алехандро Ходоровски основал «Паническое движение».

Несмотря на отчасти скандальный и непривычный характер творчества, Аррабаль — один из самых востребованных европейских драматургов, один из самых переводимых прозаиков и поэтов, пишущих на французском языке, лауреат множества литературных, кинематографических и театральных премий, среди прочих — Гран-при Французской академии за драматургию, премия Набокова за романистику, премия «Эспаса» за эссеистику и т.д. В 2005 году стал финалистом Нобелевской премии по литературе и кавалером французского ордена Почетного легиона. С 1990 года носит почетный титул «Трансцендетного сатрапа», присужденный ему Колледжем патафизики (среди титулованных особ — Камило Хосе Села, Ренэ Клар, Марсель Дюшан, Макс Эрнст, Эжен Ионеско, Мэн Рэй, братья Маркс, Хоан Миро, Жак Превер, Раймон Кено, Борис Виан, Ролан Топор и Умберто Эко).

ПРЕССА О РОМАНАХ АРРАБАЛЯ

Если бы дворянин, титулярный советник Аксентий Иванович Поприщин с успехом преодолел жестокие обряды посвящения, возглавил общество гологоловых грандов, в которое его забросила судьба, бескорыстная любовь и притязания на испанский престол, и продолжил свое повествование, — то, вполне вероятно, российская общественность получила бы «Необычайный крестовый поход влюбленного кастрата» задолго до его появления в переводе с французского.

«Газета»

Провоцирующее и эпатирующее заглавие романа [«Необычайный крестовый поход влюбленного кастрата»] — не более чем игра. Проза Фернандо Аррабаля виртуозна, легка, полностью заключена в пределы головокружительного словесного карнавала. Жанр определяется просто: это записки официально диагностированного сумасшедшего, который сам себя сумасшедшим не считает и по итогам повествования действительно оказывается вполне нормальным человеком на фоне шизоидной реальности.

«Политический журнал»

«Красная мадонна» — замечательный роман. Сколько бы ни говорили о зарождающейся русской новой мифологической школе, сколько бы ни гордились откровениями Павла Крусанова или Дмитрия Липскерова — разница все равно ощутима.

«Красная мадонна» — алхимический роман. Один из принципиальных мифов западноевропейской традиции — создание философского камня (не случайно отголоски его слышны даже в романе о Гарри Поттере) — преображен в странно-ироничное, почти фарсовое и в то же время серьезное повествование. Если угодно, роман Аррабаля — алхимический апокриф... И не знаешь, чему здесь более удивляться: мастерству, с которым соединены столь разнородные элементы (добродетель и порок, ирония и пафос, насмешка и проповедь), или выстроенности сюжета, образцовому романному повествованию, скрупулезной сделанности этой небольшой книги.

Николай Александров

В мистической книге Аррабаля [«Красная мадонна»] много параллелей с «Парфюмером» Патрика Зюскинда. Хотя поисками философского камня занимается больше дочь, именно Красную мадонну по своей одержимости можно сравнить с гениальным парфюмером Гренуем, посвятившего свою жизнь поиску запаха, который сделает его сверхчеловеком. Ради этой тщеславной идеи Гренуй идет на убийство, мадонну также можно назвать убийцей своей дочери. Даже «благая весть», которую должна была нести людям Вулкасаис, не может оправдать моральное преступление мадонны, поэтому оба романа заканчиваются трагически для тех, кто сделал попытку стать выше самой природы.

«Русское поле»

Как гласит военно-полевая мудрость, «не бывает атеистов в окопах под огнем»; вот и формировать наиболее близкие к действительному положению дел представления о своих всевозможных ориентациях, будь-то теологические или гендерные, или любые другие, человеку стоило бы тоже в близких к экстремальным ситуациям. В определенных обстоятельствах больничная койка годится для озарений даже лучше окопа, так что шедевр Фернандо Аррабаля «Канатоходец Господа Бога» служит прекрасным обо всех этих вещах напоминанием.

«Среда»

Стилистически старомодный «Канатоходец Господа Бога» — детальное повествование о том, как различные персонажи сношают (уже не) целомудренного паралитика, праведного брюзгу с мазохистским потенциалом, рассказанное им самим.

С элементами визуального непотребства, гомосексуального уклона, мечтами о деве с «сосцами серны», цитатами из Библии и упованиями на Всевышнего.

«Белорусская деловая газета»

«Канатоходец Господа Бога» — изысканный ответ религиозным маразматикам. Религиозное милосердие низвергнутое с пьедестала Фернандо Аррабалем, другом Сальвадора Дали и личным врагом генерала Франко.

«Az.Gay.Ru»

FERNANDO ARRABAL

LA TUEUSE
DU JARDIN D'HIVER

ФЕРНАНДО АРРАБАЛЬ

УБИВИЦА
ИЗ ЗИМНЕГО САДА



Москва
2006

УДК 82(1-87)
ББК 84(4Фра)
А 79

FERNANDO ARRABAL
LA TUEUSE DU JARDIN D'HIVER

Перевод с французского *Нины Хотинской*

Художественное оформление
и макет *Антон Ходаковского*

Аррабаль Ф.

А 79 Убивщица из Зимнего Сада: Роман / Фернандо Аррабаль; [пер. с франц. Н. Хотинской]. — М.: Эксмо, 2006. — 256 с. — (Actual).

ISBN 5-699-15997-5

В окружении полчища муравьев, тараканов и стрекоз, наблюдая за ними и наслаждаясь живописной поэзией их насекомой любви, живет молодая девушка в странном жилище, которое она называет то Зимним Садам, то Небесным Сводом. Ее сосед — дед без одной ноги, ее друзья — тучный японец Кэнко, кладезь восточной мистической мысли, и Самори, преданный девушке со всей силой своей слабости. Опасной бритвой, подаренной ей когда-то на память самим Пабло Пикассо, она убивает своих случайных любовников в момент их наивысшего наслаждения. Другой художник, Сальвадор Дали, приглашает ее в свой замок для участия в гениальнейше извращенном, оргиастичнейше оргийном празднике...

Скандальный роман последнего дадаиста и сюрреалиста Фернандо Аррабалья «Убивщица из Зимнего Сада» — впервые на русском языке с предисловием Милана Кундеры.

УДК 82(1-87)
ББК 84(4Фра)

ISBN 5-699-15997-5

Copyright © Écriture, 1994
© Перевод. Н. Хотинская, 2006
© ООО «Издательство «Эксмо», 2006

ВЕНЕЦ ДЛЯ АРРАБАЛЯ

В окружении полчища муравьев, тараканов и стрекоз, наблюдая за ними и наслаждаясь живописной поэзией их насекомой любви (как наслаждался ею некогда сам Аррабаль в своем поэтическом сборнике «Сны насекомых»), живет молодая девушка в странном жилище, которое она называет то Зимним Садам, то Небесным Сводом. Ее сосед — дед без одной ноги, ее друзья — тучный японец Кэнко, кладезь восточной мистической мысли, и Самори, преданный девушке со всей силой своей слабости. Опасной бритвой, подаренной ей когда-то на память самим Пабло Пикассо, она убивает своих случайных любовников в момент их наивысшего наслаждения. Другой художник, Сальвадор Дали, приглашает ее в свой замок для участия в гениальнейше извращенном, оргиастичнейше оргийном празднике.

Причудливый и безумный мир, не похожий ни на что известное или вымышленное; и повествование об этом мире тоже не похоже ни на какое другое — странно монотонное, точно литания, где каждая глава, как бусина четок, содержит обязательные элементы: описание новых событий; мысли юной убивицы, выраженные исключительно вопросительными фразами (бред метафизических сомнений?); речи двух ее друзей, Кэнко и Самори; наконец очередной отчет о жизни насекомых в Зимнем Саду.

Итак, еще раз подтверждено: Аррабаль не похож ни на кого, и степень его непохожести — на грани постижимого. Похожий лишь на самого себя, он, однако, делает персонажами своего романа Пикассо и Дали — это игра, но также и признание. Ибо это его старшие братья, и он — их наследник. Он последний живой представитель того, что я назвал бы испаноцентрическим сюрреализмом, родившимся из древнего барочного безумия — это сервантесовский сюрреализм, сумрачный и жестокий, сюрреализм ритуальный, одержимый литургией, которая явлена в нем под десятком личин (литургия порнографическая, метафизическая, риторическая, зоологическая и т.д.).

Я думаю об Аррабале, и мне приходят на ум имена для него: Последыш, Последний из Последних, Осиротевший; я думаю об открытом финале, которым венчается книга: убивица и Кэнко уходят, словно в самый последний миг Аррабаль напел им «Приглашение к путешествию», показал тайный выход, отпустил на вольную волю. Так же заканчивается и другой его роман, «Дочь Кинг-Конга»: героиня (между прочим, тоже убийца) уходит в гостеприимную ночь, для которой сам Сервантес нарисовал звезды.

Мне вспоминаются похороны Феллини — на тот момент его творчество уже не меньше пятнадцати лет покоилось на километровой глубине, погребенное без похорон грядущими факельщиками; он ушел во враждебную ночь, где королева Благоглупость подвесила к небесному своду фальшивые диснеевские звезды. О Последний из Последних, еще хоть на мгновение останьтесь в замке вашей фантазии, ибо ночь окутывает нас, сиротская ночь, откуда безжалостно выметены все следы Пикассо, Дали, Бунюэля, Феллини, ночь, где артистов, маршалов воображения, ловцов искр признают лишь двое глухонемых бродяг, семь стрекоз да самка таракана в агонии.

Милан Кундера

Убийца вела свои дневниковые записи, зачастую малопонятные стороннему читателю, в обычных школьных тетрадах.

На первых страницах она рассказывает — на свой манер, но не искажая фактов, — как зарезала Эдуардо Фонтечу (которого называет «незнакомцем»), богатого пятидесятипятiletнего землевладельца, в мадридском кинозале «Палас».

Свое логово убийца именует Зимним Садам. Иногда также Небесным Сводом. В этом месте, где она жила (и спала!), оказалось множество насекомых и всевозможных безделушек, не представляющих ценности. Пол был покрыт толстым слоем дерна.

Упомянутый Кэнко — тучный японец, незаконно проживающий в стране.

Из полицейского протокола

Незнакомец обнимал меня, начисто позабыв об осторожности, на полу под креслами Кинозала. Он жаждал наслаждения, и бдительность его притупилась. Он не заметил, как я поднесла лезвие к его шее, чтобы перерезать горло. Несколько часов раньше, в Небесном Своде, готовясь к Бдению, я спрятала в сумочку опасную бритву.



1. Единственные ворота, выходящие наружу.
2. Приставная лестница, чтобы забираться в Зимний Сад.

Зимний Сад, где я жила, также именуемый Небесным Сводом, был государством Естественного Права. Кроме одной меня, никто не проживал в его стенах. С западной стороны возвышался, подобный грозному орудию, Особняк. То была тирания. Жили в нем лишь трое:

калека (мой дед) и сестры (две его служанки). Так называемый «Парк» простирался над океаном, разделяющим два континента. Оба дома, однако, соседствовали, объединенные с двух сторон высокими стенами, которые, точно две длинные руки, обнимали их, обозначая границы территории, известной как «Домен». Небесный Свод и Особняк связывали притом некие соглашения, хоть и неписанные. Даже негласные. Калека платил за мое молчание, покрывая расходы Небесного Свода. Я, как троица обезьян, была слепа, глуха и нема: не видела, не слышала и не обсуждала происходившее в Особняке. Мы жили в мире. Однако же калека испробовал немало окольных путей, пытаясь заключить союзы потеснее, в которых уважение дрогнуло бы в кольце равнодушия:

— Тебе минуло восемнадцать, и ты моя внучка. Почему же ты не хочешь жить с нами в Особняке? Вот уж сколько лет, как ты окопалась в дальнем углу парка, в этой огромной запущенной развалюхе, бывшей некогда Зимним Садам.

Сильнейший фаталистический дух определял жизнь в Особняке. Он пришел на смену вере в победу, которую дом знавал раньше. Этот дух пессимизма вселил разочарование в трех его обитателей, как будто безмолвие, разрастаясь в их душах, утопило их в своей паузе забвения. Смерть садовника и увольнение двух последних слуг углубили уныние калеки:

— Я столько выстрадал... Ты даже представить себе не можешь, до чего разочаровала меня жизнь, и свет тоже... да и ты. Когда я вижу, как ты взбираешься на лесенку, чтобы проскользнуть через слуховое окошко в Зимний Сад... о, какое глубокое отчаяние овладевает мною! Что я тебе сделал, почему ты так поступаешь со мной?

Под защитой неприступных стен, на склонах Могучих Гор стоял Замок Достоинства. Он возвышался над Севером Небесного Свода. Вздвигались крепостные башни, грозно ошестинившиеся моими остриженными ногтями, натканными в бойницы. А в Тронный Зал я, при помощи длинной соломинки, ухитрилась просунуть пуговицу почтальона, кусок галстука, который отрезала в Кинозале, и спичку швейцара Консерватории.

Пробило десять часов вечера, когда я входила в Кинозал об руку с незнакомцем. Мне вспомнились слова Пикассо, сказанные три года назад, когда он подарил мне камею и опасную бритву:

— Думать о вечности или мечтать о бессмертии — ужасно... В мои-то годы! Мне сегодня девяносто один год и пять месяцев. День в день. Я не прибавлю и не убавлю ни одного седого волоса, ни одной морщинки, ни единого дня... Коль скоро тебе всего пятнадцать...

Экран в Кинозале находился у самого входа. Двадцатый ряд, пустой в этот час, был сродни *no man's land*, ничьей земле: полоса тени, спаянная с судьбой. Незнакомец повел меня в последний ряд.

Как истолковать родившиеся в Зимнем Саду легенды и верования о сотворении Небесного Свода? В большинстве своем они облагораживали его происхождение, представляя его едва ли не раем. Если верить им, пол и стеклянная кровля сообщались между собой, пока небо не отделилось от земли. Небесный Свод стал сердцевинной мироздания. В точке схождения всех линий высилась столица. Ансамбль ее зданий я построила из ивовых прутьев, деревяшек и веточек. На Площади Закона помещался календарь — глиняный диск, испещренный точками, черточками и значками разных размеров. На Площади Востока карликовый дуб, подарок Кэнко, одевался в

разные цвета, отмечая ход годового цикла. Когда казалось, что один цвет вот-вот исчезнет, рождался другой, изначальная мертвенная бледность расцветивалась яркими красками, вся цветовая гамма присутствовала здесь. Все сущее принадлежало к вполне определенной категории Небесного Свода. Вследствие чего он обладал качествами и свойствами, присущими объединенным им мирам. Но, благодаря оригинальной шкале соотношений, подчеркивались общие черты, объединявшие все миры в Зимнем Саду. Тараканы, к примеру, клещи, муравьи и мухи вписывались в схему Небесного Свода. Они были неискаженным его отражением, но в то же время являли символ комплиментарности и выбора. Когда засыпала гусеница-единорог, она возвещала тем самым время сумрака и упадка, тишины и томительного ожидания, а когда она просыпалась, то было время света, полноты, энергии и действия. Вместе они составляли цикл день-ночь, установившийся в силу единства двух сменяющих друг друга явлений, взаимосвязанных и взаимодополняющих. Чаши весов в своей нераздельности рождали гармонию.

Мы не сразу пошли в Кинозал — сначала незнакомец просто подошел ко мне. Дрожа? Волнуясь? В нерешительности? Сколько лет ему было — шестьдесят? Пятьдесят? Он представился. Мы зашли в бар. Он без обиняков сообщил, что владеет некой собственностью. Подарок Пикассо лежал, скрытый от глаз, в моей сумке.

Зимний Сад когда-то, еще до моего рождения, охранял сторожевой пес. Однажды ночью с неба прилетела хищная птица и растерзала его своим острым клювом. Был ли то первый день творения? И тогда выходит, что Небесный Свод явился плодом жертвоприношения? Из разлагающейся плоти пса создана эта земля? Из его кос-

тей — Кордильеры Догматов? Из его крови — вода в Котловине? Из его шерсти — растения? Из его черепа — стеклянный купол? И, чтобы продолжалась жизнь и не прерывалась связь в Небесном Своде, нужно было приносить все новые и новые жертвы на этот алтарь? Растить агнцев-мучеников, вскормленных отравленным молоком? А звезды *extra-muros*¹ — не от искр ли боли, рассыпавшихся во время агонии пса, родились они?

Незнакомец повел меня в последний ряд Кинозала. От него пахло смолой, но к этому запаху примешивался еще какой-то трудноопределимый душок.

Поведение мушек-фонариков оставалось неизменным с тех пор, как я поселилась в Зимнем Саду. Без всякого предварительного опыта молодняк исполнял обряд продолжения рода. Замысловатые и красивые стадии на пути к совокуплению насекомые миновали без сучка и задоринки от начала времен. Стало быть, этому не обучаются? Или сам Небесный Свод диктовал урок мушке, когда она пробуждалась к жизни? Самец выписывал зигзаги позади самки, прижав левое крылышко к брюшку. Правое же раскрывалось, как лепесток цветка, и трепетало. Была ли производимая им мелодия брачной песней? Интерлюдией, внезапно оброненной из его грез? Грозным гулом? Рождались ли мушки уже со знанием каждого движения? Выводил ли танец самца и самку на иной уровень знания, предшествующий жизни? Была ли каждая поза целиком и полностью определена от сотворения Небесного Свода? Когда свершалось совокупление, брюшко самца отчаянно корчилось, силясь проникнуть в самку. Зачем столько энергии? Столько динамизма? Столько повторений одного и того же, замаскированных под экспромты? Неужели этот свирепый и бесплодный

¹ Вне стен (лат.). — Здесь и далее прим. переводчика.

натиск и вправду венчался насилием? А его внезапный конец означал свершение? Там, за высшей точкой, после извержения, посещало ли мушек чувство, что они были огромны в тесноте? Редки в небытии?

Почему мне казалось, будто много липких рук вырастает из груди незнакомца? Сквозь них я все же смотрела фильм. На экране сражались самолеты. Глухой рокот сотрясал Кинозал.

После сотворения Небесного Свода я построила храмы, музеи, театры, святилища, дворцы и монастыри из коробок от сигар, проложила дороги из песка, карандашами вырыла колодцы и соорудила норы из наперстков. Озера я сделала из фарфоровых тарелок, а небесами служило все, что было видно сквозь стеклянную кровлю Зимнего Сада. Здесь знали такие места, как Институт Видов и Палата Судеб, не имея, однако, доказательств их реального существования. Сад, будучи центром мироздания, делал возможным сообщение между небом *extra-muros* и областями, что лежали под землей, под Империей Муравьев. Все теории, пытавшиеся объяснить, как же все-таки был создан Небесный Свод, представляли первые минуты временем, когда золотым серединам недоставало блеска; чуждой порой, именуемой «Впервые».

В Кинозале летчики из фильма сражались, как настоящие воины, герои и предатели. Ревели самолеты и стрекотали пулеметы. Пальцы незнакомца шарили по моему телу. Сколько было пальцев? Я слышала его всхлипы. Стонал он? Урчал? Стремился достичь совершенного знания? Состояния каталепсии? Насладиться благодатью? В какую тайну жизни вознамерились проникнуть его пальцы? Хотел ли он ощутить биение сердца мира? Сосчитать его пульс? Готов ли он был остановиться на внешней форме, которую ощущивал, или надеялся

найти иное счастье, которое превзошло бы блаженство богатейшего из мотыльков-вице-королей? Двигало ли им геройство исполнителя в фильме и его сочащийся из бронзы обильный пот?

В Зимнем Саду высился бесконечный дуб, увидеть который не мог никто. Крона его касалась неба. Ветви его обнимали весь Небесный Свод. Корни уходили в страну мертвых. А карликовый дуб, бонсай Кэнко, у Восточных Ворот был всего лишь космическим символом. Было принято считать, что конец Небесного Свода наступит, когда рой шмелей-штыконосцев пожрет листья невидимого дерева, или ящерицы сгноят его ствол реками мочи, или корни его подгрызут муравьи-воины. Не правда ли, все — парадокс? И что он давал? Проявилось ли в нем нерушимое единство сути Небесного Свода? Предписывал ли он предосторожности противоречиям и рекомендовал ли маски порывам?

Незнакомец склонился, стоя на коленях между ног моего-тела. Он вымазал мои ляжки слюной, густой пеной. В такой позе его ладони и локти не заслоняли мне экран. Самолеты, между тем, перестали кружить и петлять. Прижимаясь лбом к моему пупку, он издавал нечленораздельные звуки. Молился? Рыдал? Тихонько повизгивал? Все, что я носила в моем теле зловонного, нечистого, мерзкого, особенно его занимало. Неужто эти места исполнены духовности? Для него или вообще? Звук стал отчетливее, изменился ритм. Что это было — тишайший напев? Шепот души? Хрип инстинкта? Чего искал незнакомец во мне? Промерял глубину, как водолаз? Шел сквозь огонь невредимым? Почему его руки были так настойчивы? Хотел ли он достичь вершины, которая сделает его бессмертным? Мудрым? Счастливым? Что находил он во мне? Взбирался ли на холмы? Пересе-

кал ли границы, преодолевал препятствия, шагал через долины, спускался во рвы, ущелья, муторные пещеры? Погружался в самую мерзкую мерзость, чтобы найти источник энергии? Естества? Жизни?

На экране Кинозала вслед за самолетами, изрыгая шквалы огня, появились танки. Летели искры. Наплывали перепачканные лица воинов. Те походили на первобытных колдунов.

В Небесном Своде звезды сияли, точно освещенные залы, подвешенные к небу *extra-muros*. Там никогда не царил хаос, в котором жил Зимний Сад до моего прихода. Поэтому они загорались ночью и исчезали днем. Стал ли этот горный свет необходимым условием, чтобы Небесный Свод познал духовность? Строгое совершенство, в котором дышала и я сама, — было ли оно средоточием гармонии?

Незнакомец лег на пол под кресла Кинозала:

— Иди сюда.

Я слышала его как сквозь вату. Его руки обвивали ноги-моего-тела. Множество щупалец колыхались истерзанной зыбью. Неужто они вырастали из кучи жира? Он бился у моих ног. Чего он хотел — темноты? Интимноты? Снова самолеты взлетали и садились, кружили в небе и падали, охваченные пламенем, к центру земли.

— Иди сюда.

Неужели самая гадкая гадость-моего-тела таила столько вдохновения, столько знаний? Столько света? И незнакомец догадывался, щупая меня, что к тайне прибавилась другая тайна? Думал ли он о том, что, вместе взятые, они сложили Врата Чудес? Что творилось с его волей — она слабела? А рассудок — мутился? А прозорливость — туманилась? Видел ли он, поверженный, как тонкий ум его вырождается в глупость?

Кольчатые бабочки в Зимнем саду — вправду ли они желали, чтобы слезы родились из яйца? И чтобы Небесный Свод был сотворен из плевка светящегося кузнечика? Но не для того ли созданы были стеклянная кровля и Котловина, и пустыни, вулканы, пляжи, и Электрический Поезд, чтобы оправдать их пребывание в Зимнем Саду? Не для того ли небо сияло днем, а звезды ночью, чтобы могли они справиться с путями и кошмарами? Все, что в Зимнем Саду проявлялось чувством, все, что одаривало памятью, все, что открывалось словом, — все это было и Небесным Сводом. Залогом сути, если не по природе своей, то по схожести.

— Иди сюда.

Незнакомец призывал меня одними и теми же словами. Желание ли притупило его изобретательность? Или эта литания была приемом? Звуковым выражением его стратегии? Его иллюзии? И он обращал рефрены своего гимна к грязным глубинам? Между тем Бдение подходило к концу. Когда я приблизилась, он сменил пластинку.

— Ложись на меня.

Он отвлекся на части, и Целое интересовало его лишь как их сумма. Незнакомец абстрагировался от всего внешнего, даже от собственной жизни. Девственная ли земля так манила его? Или он ощущал тяжесть наслаждения, свободного от неумолимого рока?

Пять цветов ослепят глаза, пять запахов отобьют нюх, пять звуков отшибут слух, пять привкусов извратят вкус, пять заклятий помутят рассудок: когда Бдение закончилось, незнакомец не увидел, как лезвие бритвы вошло в его шею.

Убийца называет «калекой» своего родного деда по материнской линии — Висенте Виеру. Он ветеран гражданской войны, на которой потерял ногу в 1938 г. Когда она пишет «ОН», имеется в виду генерал Франко. «Сестрами» именуются Мерседес и Луиса Рубин де Селис, 39 и 40 лет соответственно, обе могучего телосложения. Эти две женщины без определенных занятий состояли в близких отношениях с калекой и жили в его доме.

В нижеследующей записи убийца рассказывает, как она зарезала служащего Почтового ведомства Антонио Майораля (она называет его «почтальоном»).

Самори (друг вышеупомянутой убийцы) совмещал работу в руководящем составе компании «IBM» с ночной деятельностью иного порядка (по ночам он вел весьма бурную и порой даже скандальную жизнь, как явствует из его досье).

Пикассо, что, надо полагать, ясно всем, — знаменитый художник.

Из полицейского протокола

Калека (мой дед), живший затворником в Особняке с сестрами (своими служанками), основывал на доводах разума стратегию всякого своего выбора. Отсутствие решимости было характерно для его ослабленной воли. Однако же своих сожительниц, когда они его мыли, он поучал:

— Мы переживаем эпоху упадка... Это не может продолжаться долго. Как только «он» умрет, то немногое, что еще осталось от нашей этики, от индивидуальности, пойдет прахом. Анархия и хаос воцарятся повсюду... и начнется это здесь, в столице. Нам придется спасаться. Надо быть готовыми бежать... или сотрудничать.

Калека говорил о «нем» как о сказочном или мифическом персонаже. До самого Небесного Свода долетали отголоски апокрифического жизнеописания: оно гласило, будто «он», проведя восемьдесят лет в материнской утробе, родился на свет в обличье старика. Калека опровергал эти измышления.

— Когда я потерял ногу, «он» вручил мне награду в своем дворце, и я видел молодого воина... лет сорок тому назад.

Позабыл ли калека, пахнувший, как тленом, нечистой совестью, доктрину, философию и систему былых времен? Созерцал ли он собственную натуру? Или вездесущее небытие изгнало историю под знаменем амнезии?

— Мы живем в будущем без грядущего.

Калека велел мне звать сестер «тетушками». Меня же для них чудесное пресуществление сделало «племянницей».

— Разве ты не бываешь счастлива с нами троими? В Особняк ты лишь заглядываешь мимоходом. Только когда идешь на улицу или возвращаешься. Ты смотришь на нас, будто мы — какие-то инородные тела... и тетушки, и я, твой дед как-никак!

В Лесу Кэнко низко кланялся столетней секвойе. Потом замирал на несколько мгновений. Забывал ли он, что я рядом? Что первые лучи рассвета озарили небо? Размышлял ли он о том, что есть секвойя? Молился ли ей?

— Поклонения достойно все сущее.

В Небесном Своде я посадила в землю пень на Берегу Озарения. Упражнялись ли черепахи в сумо благодаря ему? Могут ли рептилии заниматься этой традиционной борьбой? И догадывался ли Кэнко, над чем я задумываюсь?

— Если хочешь овладеть сумо, одной техники мало. Сумо учит воинскому искусству забвения своего «я».

Кэнко дважды медленно ударял в ладоши, не отрывая взгляда от дерева. Быть может, он чувствовал себя братом секвойи? Или поднимавшегося над горизонтом солнца? Или проплывавшего облака? Или капельки воды?

— Бой сумо, в котором я был силен у себя на родине, — это быстрый штурм. Мощная и внезапная стычка двух борцов. Побеждает тот, кому удастся вытолкнуть

или выбросить противника за пределы засыпанного песком круга. Он добивается этого, при помощи правильного дыхания достигая концентрации, концентрацию свою обращая в энергию, а энергию — в безграничную власть над временем.

Воздав почести дереву, Кэнко снимал свой хитон и надевал взамен набедренную повязку с маленьким передничком. Для него было счастьем одеваться так для церемонии. Когда он с силой ударялся о ствол, бахрома на переднике, точно крошечные щупальца, развевалась в безмолвном своем величии. Утреннюю тренировку Кэнко выполнял как упражнение в духовной силе. Его огромный оголенный зад, всеобъемлющий живот и маленькие, как у девочки, груди с размаху налетали на дерево. Целый мир белоснежной плоти на всем бегу сталкивался со вздыбившимся, покрытым корой твердым телом. Кэнко, с пустым, свободным от всяких мыслей умом, проникался его энергией и принимал ее в себя.

— Центр гармонии расположен на два сантиметра ниже пупка. Это геометрическая точка, в которой соединяются духовное и физическое. Некоторые борцы сумо весят до ста семидесяти килограммов. Но я достичь этого веса не могу.

Стремился ли Кэнко к первозданному неразумию? Чтобы не мешала ни единая мысль? Мощь его грузного тела, легкость, с которой он устремлялся на штурм, напряженность его мышц и их расслабление после сильнейшего удара являли обличья и формы красоты. А я раскладывала их на составляющие и наслаждалась еще полней. И не они ли отмечали также разные этапы, из которых складывался путь забвения своего «я»? Не из них ли воздвигалась белоснежная вершина великолепия и блаженства?

— Три года назад тебя не было целую неделю. Я тогда только приехал из моей страны. Если опять уйдешь надолго, предупреди меня.

В Лесу Кэнко срезал листочки мяты, ромашки и желтофиоли, чтобы приготовить для меня еду. Кусочки сырого тунца с тонкими ломтиками черной редьки. Он подавал мне их в деревянных лакированных коробочках. Из одной такой коробочки я построила первый Замок на отрогах Кордильер. Часто, когда припекало солнце, на нем грелась ящерка. Спала ли она? Думала ли, что солнце само создало для нее это сооружение? Ставила ли она превыше всего то, что всего превыше? Что есть для ящерики бог — лишь грамматическая фикция?

Самори одевался как образцовый служащий крупного предприятия. Интересно, хотелось ли ему, когда он заканчивал писать свои картины, надеть юбку с воланами? Он притворялся, следуя самой сути нормы.

— Жизнь — это познание зла, страдания и боли.

О какой боли он говорил — о той, что внутри? Я догадывалась, как плохо уживаются его желания с действительностью. Жизнь была для него чем-то зыбким, иллюзорным, из разряда феноменов, а бесплотная сущность представлялась прочной, подлинной, постоянной. Хотелось ли ему попасть в рай? Пылко стремился он к наслаждению. Жаждал быть любимым. Но еще больше желал от всего освободиться, чтобы вернуться в свою сущность. Бдением он был покорен:

— Ты читала газеты? Женщина лет двадцати, говорят, красавица, зарезала в Кинозале пятидесятисемилетнего мужчину опасной бритвой.

Искра, взметнувшись из жаровни, озаряла на миг окружающее пространство и исчезала вновь, падая в золу. Самори удовольствовался бы участью искры, что за

сотую долю секунды ярко вспыхивает и гаснет. Быть может, он воспринял Бдение как самую сокровенную тайну собственного нутра?

— Этот случай меня очень интересует, очень! Поскольку ни полиции, ни газетчикам у меня веры нет, я провел собственное расследование. Я побывал в баре, где они провели полчаса, перед тем как пошли в Кинозал. Они купили билеты на последний вечерний сеанс. В зале было не больше дюжины зрителей, а они сели в последний ряд! И представь, до того, в баре, она заказала чашку шоколада! Я говорил с официантами.

Самори порой спрашивал себя: «Что удерживает меня в этом мире? Что заставляет метаться от тела к телу?» Изголодавшись по формам, насыщался ли он обличьями? Когда механика удовольствия и плотское влечение его страстей претворялись в поступки, высекалось ли из них внутреннее пламя? А из этих поступков, совершавшихся один за другим, следовала ли череда воплощений?

— Иногда, маленьким мальчиком, я говорил себе: «Перестань желать, тогда и совершать ничего не будешь». Сегодня же я думаю, что, откажись я от сексуального акта, исчезнет и желание. Та убивица... для меня это убивица по определению... та убивица оборвала жизнь во время сексуального акта, чтобы пресечь желание раз и навсегда. Я должен найти ее. Это моей породы насекомое, мотылек с хвостом ласточки, моя сестренка-убивица, это... я... на пути познания.

Рациональный ум Самори искал приемлемых объяснений тайне творения. Он полагал, что у всего сущего два источника — добро и зло, свет и тьма. Две противоположные грани, являющие два лика человеческой натуры. А меж ними — чахлые запретные страсти, не вполне двусмысленные, хоть и вряд ли недвусмысленные.

— Вот уже три года, как ты совершила свое первое путешествие — и последнее. Я отвез тебя к Пикассо. Он стоял одной ногой в могиле... но в гениальной голове художника роились идеи. По крайней мере, так выразились обозреватели, когда через неделю после твоего отъезда он скончался.

Все двери Зимнего Сада заложили кирпичом и замуровали. Входом служил узкий лаз на высоте человеческого роста. До него можно было добраться по лесенке, довольно крутой. Ни калека с одной ногой, ни толстые сестры вскарабкаться по ней не могли. Это окошко было известно под именем Изначального Причала. Интересно, а для насекомых в Зимнем Саду, никогда Небесного Свода не покидавших, — было ли для них это отверстие светом, жизнью и разумом? Думалось ли им, что по ступеням бесконечной лестницы можно добраться до солнца?

Пикассо не жил в городе, дом его стоял на откосе. Запертый наглухо. Открывалась одна лишь стальная дверь Усадьбы. На лице у Пикассо было больше морщин, чем на коленях Самори. Меж его картин ярко светился экран.

— Ты была с Пикассо неделю. Вы провели наедине, запершись в мастерской в его Усадьбе, семь раз по семь часов, и я знаю только одно — вы смотрели телевизор. А ведь ты никогда его не смотришь. Сорок девять часов вдвоем — совсем юная девушка пятнадцати лет от роду со стариком, которому пошел девяносто второй год... а его жена, ревнивица из ревнивиц, ни словечка не сказала.

О первой паре мушек-змей в Зимнем Саду говорили, что они родились в ножке гриба — подберезовика. Они слепо ожидали своей участи, вскормленные росой, падавшей на шляпку. Она просачивалась к ним сквозь губчатый слой. От этой пары родилась вторая и жила там же, в ножке, а первая тем временем начала заселять Небесный

Свод, и от нее пошли разные виды насекомых. Интересно, там, в ножке, жила ли и теперь пара мушек-змей, которым предстояло пережить разрушение Зимнего Сада и заселить его вновь?

Пикассо говорил, что после операции больше не сможет обрюхатить ни одну женщину.

— Но я живу нормальной жизнью, невзирая на мелкие увечья: у меня есть живопись и красное вино.

Кэнко назначил мне встречу в Лесу в восемь часов. Я думала, он имел в виду вечер. Прошел час, я все еще ждала. Я прилегла на каменную скамью. И уснула. Мне снился кот, улегшийся на мое сердце. Я проснулась. Незнакомый мне человек в форме почтальона держал в руках груди-моего-тела. Он тотчас отдернул руки. Он чуть не плакал, сам не свой.

— Каждый уголок Леса знает нас, ее и меня. Я целовал ее под каждым деревом, ласкал у каждого куста... А теперь она не хочет меня видеть.

Почтальон весь дрожал. Он и вправду расплакался. То, что ослабло в разлуке, возвысила память. Я никогда не видела, чтобы Кэнко плакал. Слезы — признак ли они слабости смертных? Изъяна души? Узы, связывавшие почтальона с любовницей, бесповоротно отлучили его от всех остальных? Его страсть превратилась в любовь к самому себе? В тяжесть наслаждения, украденного под шумок у хладномраморного рока?

Зачем Самори отвез меня к Пикассо? Зачем он накрашил меня? Зачем одел в кружевное белье? Зачем разрисовал мне пупок? Зачем надарил вуалей, лиффов, шляпок? Зачем фотографировал меня в своей мастерской? Зачем с такой тщательностью причесывал? Зачем втыкал мне в волосы цветы и гребни? Хотел, чтобы я воспарила на крылах фальшивой красоты?

— Женщина... заплакала бы она, как я плачу, стоя на краю бездны черной тоски?

Почтальон привел меня к себе домой. Когда открылась дверь, сам собой заиграл фонограф и зажглись одновременно три оранжевых фонарика. Он показал мне альбомы с портретами своей любовницы и деревянный ящик, полный фотографий. Он выглядел старше ее. Почти на всех снимках она была раздета. От созерцания этого неприкрытого тела что-то в нем изменилось. Обожеествляющая память отступала перед размытой, но присутствующей здесь сиюминутной прихотью. Наверное, на каком-то этапе обожествление и прихоть совместились, и он не считал, что предает память, когда стал раздеваться. Сознание его раздваивалось под воздействием сложного процесса. Этот процесс зародился в его мозгу, в ста миллионах нервных клеток — будто это был самый замысловатый на свете механизм. Но по каким законам он работал?

Почтальон попросил меня надеть одно из платьев своей любовницы. Белое, с тюлевым поясом.

— Я сейчас сделаю одну вещь, расскажешь — никто не поверит. Как вспомню... Смотри, сейчас я дам...

Он лег на кровать и сосредоточился. Что означало для него дать — расстаться с частью своего достояния, храня при этом надежду получить? Готовил ли он пир, на котором собирался угостить сам себя по-королевски? И укусы удовольствия уже распаляли его жажду вечности? Ощущались ли им как подлинные действия, которые он столь добросовестно выполнял? В каком уголке его мозга были замурованы воспоминания?

— Ты отвлекаешься. Смотри на него. Он показывает, на что способен.

Он покачивался, как толстый язык у колокола. Что же все-таки сложнее? Нарисовать план гнезда термитов

в Небесном Своде или графически изобразить цепь нервных клеток почтальона?

— Встань на колени. Вот так. Поближе. Слушай меня хорошенько. Я лягу на спину. Положу ягодицы на твои ляжки, ноги закину тебе за плечи, левая будет у тебя справа, правая слева. Делай в точности, как я сказал. Вот так. Поэтому ты и одета в белое.

Можно ли было переложить на язык математики церебральную схему его нараставшего возбуждения?

— Ты возлюбишь его, как это делала она, а потом проглотишь все.

Кэнко иногда ел цветы. Он говорил мне, что эта штука на вкус лучше, чем лепестки. Для Кэнко есть значило предощущать свою силу и энергию мироздания, все не тождественное презирая, все тождественное приемля. Он выжимал сок из каких-то грибов. И глотал его так, будто сок этот мог дать ему вечную жизнь. Платил ли он добром за добро? От грибных соков его посещали красочные видения, он слышал поющие голоса и даже, казалось ему, воспарял.

— Я тебе противен?

Почтальон лежал на мне, голый, раскинув ноги. Голову он держал как можно дальше от моей. И прикрывал ее подушкой. Быть может, живот его совершал воздаяние, а голова — жертвоприношение? Упивался ли он победным сиянием среди тупости и тьмы? Однако же он продолжал бубнить свои педантичные указания. Ему требовалось, чтобы ритм, нажим, положение моей правой руки, левой, моих губ, колен, зубов, груди пришли в точное соответствие с неповторимым образцом. Ритуал, который он с такой дотошностью выстраивал, имел назначение тройное: привести свое тело в состояние галлюцинации, которое дарует ему волшебную силу, обрести,

благодаря этой силе, непреходящую власть над своим телом, и породить несметные сокровища ощущений, которые заставят его забыть, что он живет.

Бдение продолжалось, всеильное Бдение. Точно повелитель, распределял почтальон трофеи между клетками своего тела. Ожидал ли он, что блеснет золото? Алмаз? Молния? Вечный свет? Подушка закрывала ему голову, но не заглушала вырывавшегося из горла то ли храпа, то ли стоны, слабого, нескончаемо размеренного. Он не видел, как лезвие вошло в его шею.

Убийца рассказывает, как подверглась изнасилованию в подвале Консерватории двумя служащими указанного учреждения, Луисом Фернандесом Арройо и Рафаэлем Сайнцем (которых она называет соответственно «сторожем» и «швейцаром»).

Из полицейского протокола

Несколько вечеров я провела одна в зале Консерватории. Я слушала музыкальное послание одного незнакомца в исполнении другого. Для Самори века извержения и произрастания могли сжаться в единый миг:

— Музыка наделяет даром глоссолалии... огненные языки вселяются в головы и освещают разум.

Отхожее Место Сонета было отстойником Зимнего Сада, всегда герметически замкнутым. Я распевала в нем максимы, которые записывала на листках папиросной бумаги и гигиенических прокладках. Семь штук в месяц. Девяносто одна в год. Сколько же использует их женщина за всю жизнь? Меньше трех тысяч? Что это за цифра, является ли она собой знак эфемерности? Мои мысли и моя кровь, навеки замурованные в Отхожем Месте Сонета, чудесным образом связали жизнь, культуру и смерть в бесконечное единство.

За четыре миллиона лет до сотворения Небесного Свода самка человекообразной обезьяны в саванне слезла с дерева на землю. Из листьев олеандра она скрутила подобие тампона, которое стало предвестьем первых гигиенических средств. Сколько тысяч таких тампонов бы-

ли использованы ее потомками? Столько же, сколько песчинок на морском берегу? Что это за цифра, содержит ли она в себе образ незавершенной вечности?

За два миллиона лет до сотворения Небесного Свода родилась на свет первая женщина *homo habilis*¹. Речь ее была труднопостижима, как речь двухлетней девочки наших дней. Длинными пальцами своих гибких рук она сделала первую гигиеническую прокладку, подлинно отвечавшую своему назначению, — первую сознательно созданную вещь. Какое воздействие оказал этот созидательный жест на эволюцию женщины *homo habilis*? Возвестил ли он о пробуждении человеческого разума? Быть может, женщина *homo habilis* спросила себя: «Откуда эта кровь? Почему она течет из меня? Кто сотворил меня такой? Каково мое предназначение в этой саванне?» Ее младенческий разум не мог найти внятных ответов. Но может быть, она окружила себя зеркалами, чтобы преодолеть тревогу? И так впервые в жизнь вошло колдовство? Религия? Благодаря родовой памяти в ее мозгу всплывали образы далеких предков, которые ходили на четвереньках, жили на деревьях и не пользовались гигиеническими прокладками. Ей вспомнилось, как, приняв вертикальное положение и научившись ходить на двух ногах, она столкнулась с необходимостью носить прокладку между ног. Почувствовала ли она себя благодаря ей вольготнее? Вспоминала ли с грустью о своем далеком прошлом? Легче ли ей было с тех пор жить в ладу с природой? Задавалась ли она вопросом, сможет быть теперь счастливой без гигиенических прокладок или нет? Она ли сотворила миф о золотом веке? Экологию в зачаточном состоянии? Ностальгию? Оттачивался ли ее ра-

1 Человек умелый (лат.), первая ступень развития человека.

зум, когда она осознавала эти столь противоречивые чувства? Изготовление первых гигиенических средств предполагало повторение некоего жеста и закрепление его в обычае. Было ли следствием этого создание женщинами высшей культуры в племени? Укрепила ли эта культура общественные связи среди женского пола? Дало ли это достижение толчок фундаментальному прогрессу в распределении пищи в племени?

За шестьдесят тысяч лет до сотворения Небесного Свода женщина неандертальца впервые закопала в землю использованные гигиенические прокладки. Какую же сей сознательный поступок повлек за собой духовную революцию? Стал ли этот погребальный обряд основой метафизической концепции времени? И как повлияло это открытие на общественную жизнь? Вскорости женщина *homo sapiens* стала хоронить мертвецов. То есть, кровь для нее была символом жизни? Погребения? Смерти? На какие размышления эта двойственность наводила женщину? Какие толкования подсказывала ей тогдашняя вера? Быть может, полнота этой сути исторгала в финальной развязке ноту отчаянной надежды?

За девять тысяч лет до сотворения Небесного Свода женщина перестала спекулировать на тайне своих кровотечений. Пришла пора феноменологических размышлений на этот счет: как возникает жизнь? Какими причинами обусловлено ее рождение? В результате этого самоанализа возникли зачатки сельского хозяйства. Человеческие племена разрастались. Появились города, государства, развивалась меновая торговля, а затем и все более сложная система экономического взаимодействия.

За пять тысяч лет до сотворения Небесного Свода женщина захотела вести счет дням своего менструального цикла, чтобы заранее готовить прокладки, вовремя от-

мечать задержки, обращать внимание на отсутствие. Все это она запечатлевала на глиняных табличках с помощью черточек, кружков и треугольников. Таким образом она вела учет циклов, задержек, периодов. И так родилось первое в истории человечества идеографическое письмо. По этой же причине первыми календарями были календари лунные. Стало быть, цивилизация и культура были порождены императивами женских кровоточений? А эти кровотоечения — изменились ли они в ходе эволюции женского тела? И явились ли эти перемены результатом повторения заученных и все более незаметных жестов? Что есть красота, как не постоянство?

Моя жизнь в Небесном Своде — и, следовательно, жизнь всех насекомых, которые там обитали, — была бы она иной, если бы я не хоронила гигиенические прокладки в Отхожем Месте Сонета? То есть, изменила бы естественный ход вещей?

Я слушала, сосредоточившись, в зале Консерватории. За стеной кто-то неведомый играл на рояле. В его исполнении сталкивались случайный навык и незапамятное знание. Быть может, он репетировал к концерту, чтобы суметь в нужный момент явить свою посвященность? Я слушала одна и одна была внимательна к сбоям. Когда они случались, мне доставалось откровение, не для меня предназначенное; ведь ошибка принадлежала к единственному в своем роде музыкальному жанру. На концерте, который игрался без сучка и задоринки, вдохновение создавало нюансы, тон, краски. Исполнитель тогда придерживался принципов и норм, бывших, собственно, смыслом существования музыки. Скачок же, обозначенный ошибкой, ясно и недвусмысленно говорил — самым своим отсутствием — о том, что свято. О безумной жажде жизни? Утонченной абстракции колебания?

Кэнко играл на деревянной флейте. Он извлекал из нее высокий звук, пронзительный, как напев колонии муравьев-копьеносцев. Как искусство репетиции. Он возвращал чудесную память, которой обладали насекомые, чтобы овладеть звуком и движением — и сочетать их. Он напоминал о пении кита, что длится полчаса, и морские гиганты повторяют эту песнь, ноту за нотой без единой ошибки, в ночной пустоте океана. Слушая Кэнко, я понимала, почему в Небесном Своде символическая мысль наверняка предшествовала речи, почему совершенству тайно ведомы звуки, какие языку и не снились.

Самори раскрашивал мне щеки, мочки ушей, лоб. Он рисовал серебристые чешуйки вокруг моих грудей, божью коровку на животе, шпоры на ногах и волны на шее. Обращался он со мной, как с экземпляром некоего племени:

— Сколько же у вас щелей, сколько слизи и сырости, сколько влажных углублений. Что такое женщина?

Самори осматривал меня, словно врач, с электрической лампочкой в руке. Испытывал ли он брезгливость? Желание? Любопытство? В матке женщины в течение жизни образуется четыреста яйцеклеток. Мужчина же при каждой эякуляции выбрасывает миллионы сперматозоидов. Быть может, Самори предпочел бы иметь матку, ту самую, что вызывала в нем столько отвращения и страха? Не сперматозоиды ли вынуждали его к совокуплению со множеством партнеров? Не мечта ли об одной яйцеклетке раз в двадцать восемь дней, как у женщин, побуждала к единению с одним лишь любовником? Мог ли он узреть девственную зарю без слепящего ореола иступления?

Самори украсил мои губы медоносной пчелой с длинными усиками. А бывало, он рисовал на той же части мо-

его тела пучину вод, или пылающий огонь, или нездешнюю красоту, запечатленную в мгновении.

— Убивщица нанесла еще один удар, но никто не видит связи между двумя преступлениями. Когда же до них дойдет?

Я лежала на столе. От прикосновения его кисточек к телу клонило в сон.

— Дали прислал письмо моему дяде. Он собирается устроить праздник в своем замке. Гости приглашаются только парами. Мне бы хотелось, чтобы ты поехала со мной.

Сторож и швейцар Консерватории застукали меня в зале. «Что ты здесь делаешь одна?» «Ты студентка?» «Кто тебе помог сюда проникнуть?» «Сколько у тебя сообщников?» «Ты хотела что-нибудь украсть?» «Пришла покурить травку?» «Наркотиками балуешься?» «Из какой ты шайки?»

Сколько помнит человек — больше ли, чем клопик-арлекин? В каком секторе памяти хранит он свой опыт охотника? Отличается ли охота на слона от охоты на лань? Радости от окружения, преследования, погони — существенно ли разнятся они в том и другом случае?

Швейцар и сторож меж тем распределили позиции для облавы. В темном зале Консерватории всплывало их охотничье прошлое. Присутствие дичи — меня — освежило воспоминания. Они извлекли из дальних уголков памяти предков давно забытые жесты, складывавшиеся в стройную систему, которая позволяла их пращурам выживать и наслаждаться, — подходящие радости для отдельно взятых тел.

— Надо бы сдать ее в полицию.

— В час ночи! Вот так запросто уйдем и бросим Консерваторию? А если еще какие-нибудь девки вроде нее...

— Я могу отвести ее один, а ты пока...

— Завтра утром, спокойненько, после работы вместе зайдем в участок...

— А что с ней делать до утра?

— Об этом не беспокойся.

— А вдруг она сбежит?

— И с места не двинется.

Сторож со швейцаром силой заволокли меня в подвал. Там была котельная. Они открыли подсобку, бросили меня прямо на дрова и заперли дверь на ключ. Мало-помалу меня сморил сон. Откуда-то издалека доносился шепот. Это аппетиты росли, щекоча крылья и панцири. Вскоре дверь отворилась... Сторож рывкнул в ярости:

— Надо проучить ее хорошенько!

— Не наше это дело...

— Если не наше, то чье же?

— Полиции.

— Полиции!.. Эта тварь думает, будто в Консерваторию можно прийти переночевать, как в гостиницу.

— Да ладно тебе, не заводись. Что ты себя накручиваешь? Она же молчит.

— Еще бы не молчала! Что она может сказать в свое оправдание?

— Мы ведь не судьи.

— Знаешь, что я тебе скажу? Завтра она опять придет... да не одна, а с дружками... и скоро будет тут у нас курильня опия или дешевый бордель.

Сторож входил в азарт ловли. Воображал ли он, что полонил представительницу касты эстетов? А присутствие боязливого швейцара — распаляло оно его? Возмечтал ли он разрушить взмахом руки хрупкую башню из хрусталя? Извлечь на свет истинную меня из-под моих мыслей? Преисполнялся ли он восторга, топча ногами то, что

создано было, как он думал, для поклонения? От близости отопительного котла обоих мужчин прошиб пот.

— Надо ее раздеть.

— Ты спятил?

— Не то еще, чего доброго, сбежит. Голой-то на улицу не выйдет, шагу не сделает.

— А если заявится моя жена?

— Ты исполняешь свой долг швейцара, как я — свой долг сторожа. Нам платят за то, чтобы мы охраняли Консерваторию. Чтобы здесь был порядок и никакая потаскушка...

Они сорвали с меня одежду. Мужчина — разделял ли он радости своих предков? Знал ли, что смертен? Страдал ли от этого?

— Откуда ты родом?

— Кто твой отец и мать?

— Где ты живешь?

Насколько сопрягали они слова с понятиями и поступки — с обстоятельствами, их обусловившими? Верша надо мною суд в подвале Консерватории, они раскрывали в проявленном усердии структуру мифа? Отождествляли себя со справедливостью и правосудием? Было ли дано им, светскому суду, заглядывать в сердца — им, казавшимся кровью, освобожденной из темницы?

— Роба у нее премерзкая.

— Молчит, будто язык проглотила.

— Это потому, что больно гордая.

— Не пойму, с чего ты это взял.

— Мы для нее — что вши. Погляди, смотрит-то как презрительно.

— Ей-богу, ничего такого не вижу.

— Сейчас я ей покажу вшей!

— Что ты хочешь сделать?

— Надо ее наказать. Чтоб запомнила... и больше не вздумала...

Они обливались потом, маясь в нерешительности. Как человеческое существо я в их глазах немного стояла, но отчего им не нравилось мое поведение? Хотелось ли им проникнуться духом мести? Или они лишь изображали его, от разочарования, из прихоти? Быть может, они искали признания, жалости и прощения? Созрели для этого поразительного механизма совести? Иррациональное обуяло их? Прорвала плотину жестокость? И каждый выплеск пробуждал новые страсти?

— Подойди ко мне.

Сторож, сидевший на кухонном стуле, сжал меня, как в тисках, между коленями.

— Оставь же ее наконец в покое.

— С этими гадинами нельзя церемониться, пусть-ка выплюнет весь яд, что у нее внутри.

— Не трогай ее, ты не имеешь права.

Сторож схватил меня за волосы. Приблизил свое лицо к моему. Его глаза — свирепые? испуганные? — сверкали в паре сантиметров от моих. На бровях повисли капли пота. Вставные зубы поблескивали сталью.

— Ты думала, Консерватория — проходной двор?

А Кэнко — мог ли он ударом головы сшибить стену? Быка? Слона? Его сила была искусством в искусстве, жгучим вкусом памяти, кожей и мякотью жизни. Это она побуждала его на свой лад искать истину. Был ли то неиссякаемый источник? И Кэнко тонул в своей необъятной плоти, чтобы обрести новую жизнь?

— Ты меня слышишь? Надо же, она витает в облаках. О чем ты думаешь?

— Не кричи на нее.

— Она — дрянь.

— Смотри, она не шелохнется, даже бровью не ведет.

— Скажешь, она ничего плохого не делает?.. Стоит голяком с головы до пят... Все напоказ... Никакого стыда...

— Ты сам ее раздел.

— Ну да, чтобы деру не дала.

— Так... в чем же она, по-твоему, виновата?

— Она — бесстыжая, распутная... Не стыдится показывать себя в чем мать родила.

— Оставь ты ее в покое наконец.

— Она поплатится... уж я с нее получу сполна.

Я пришла в Консерваторию без сумки и без бритвы. Деньги, уходившие из Особняка, перекечевывали в Небесный Свод, а из страны Кэнко — в его мастерскую. Тем самым доказывалось преимущественное право старшего поколения по отношению к потомкам. То было наглядное свидетельство, самой сутью своей подтверждавшее неразрывную связь плоти, крови, опыта, обычаев и судьбы. Словно детский голосок с интонациями далекого предка.

— Я заставляю ее...

— Да успокойся же наконец. Какой ты взвинченный.

Сторож, между тем, прижал мою голову к своим штанам.

— Что это ты делаешь, старина?

— Яйца почесать захотелось. Эта девка ничего другого не заслуживает.

Почему сторож желал этого проникновения? Разве в отверстии, созданном для приема пищи, место отростку, через который мочатся? Интересно, наш предшественник, *homo habilis*, требовал того же от своей женщины? Что это означало? Желание извратить законы естества? Фантазия ли разыгралась у сторожа? Стремился ли он

пасть в собственных глазах? Хотел ли отлучить меня от самого акта существования? Вымещал ли своим вторжением затаенную злость на природу? И не крылось ли в этом — подспудно — нежное чувство?

Сидя на стуле, сторож осыпал меня бранью. И, как ни парадоксально, в то же время ласкал. Ненависть, брызжащая из его рта, сочеталась с нежностью, которую выражали руки, лежавшие на грудях-моего-тела. Склонившись к нему, я видела заляпанные грязью ботинки, полускрытые спущенными штанами. О чем говорил антагонизм рта и рук — о неравных силах или различной природе?

Швейцар смотрел на нас, безмолвный и неподвижный.

Камея Пикассо была зарыта в землю под Знаменем Скрибов в Небесном Своде и присыпана сверху кремнеземом. Если боги существуют, каковы они? Приемлют ли они эту иллюзорную и относительную действительность, что окружает нас? Дают ли им люди пищу? Признают ли их как знамение сути и приносят ли, даже не зная еще их чудес, жертвы на алтари?

— Вставь-ка ей сзади.

— Да ты же ее насилуешь. Нет, я не стану пользоваться ситуацией.

— Да она сама хочет... Засунь же ей!.. Давай, вот так... Видишь, она только этого и ждала.

Можно ли было акт, навязанный мне служащими Консерватории, считать пыткой? Их возня с моим телом напоминала потасовку. Был ли это символ войны? Образ завоевания? Воплощение смерти? Или мой рот и мое лono, соединясь с ними обоими, материализовали идею труда? Почему возвратно-поступательное движение совершалось в таком кратком и таком неизменном цикле? Что

если ритм, жесты, слова двух мужчин сливались в единстве противоположностей? Порождая концепты, погруженные во взвешенность? В неотвратимое забвение, в которое канут они?

В первый раз оба кончили почти одновременно. Сторож швырнул меня на пол.

— Иди помойся под краном, — посоветовал он швейцару. — Мало ли что там внутри у этих шлюх... может статься, что кислота... в рот-то безопасно, а так...

Кэнко говорил, что бесконечность равна нулю. Сколько раз один плюс один не равнялись двум, но составляли совсем другую сумму, не имеющую в количественном выражении ничего общего с двумя единицами?

После многократных омовений их атаки продолжались, подобные разору и раздору. Потом они рухнули на пол — без сил? пресытившись? в изнеможении? Сторож захрапел. Но сегодня я не взяла с собой бритву Пикассо.

Убийца, как явствует из нижеследующих страниц, замыслила и тщательно продумала свое преступление, встретившись по очереди с обоими своими насильниками.

Из полицейского протокола

Уединившись в Зимнем Саду, я часто размышляла о боли, о том, откуда берется боль, о том, как боль унять, и о том, каким путем этого достигнуть. Кэнко говорил, что рай существует:

— Здесь и сейчас.

В тринадцать лет Кэнко был избран и вступил в «конюшню» борцов сумо своей страны.

— Ты и я — мы с тобой теперь в одной «конюшне», хоть ты и не борец.

В пору мучительного своего посвящения Кэнко соблюдал наистрожайшую дисциплину. Тогда же он научился дышать.

— Только освоив науку дыхания, человек сознает себя сотворенным по образу и подобию мироздания. Я дышу вместе с этим миром. Я утолен совершенной гармонией его музыки.

Когда по утрам Кэнко бросал пригоршни соли к корням секвойи для очищения, жалел ли он, что покинул свою страну? Скорбел ли по утраченному уделу борца сумо, который привел бы его к богатству и славе? Он разделил свой телесный мир надвое, чтобы воссиять, но в иной

плоскости. Сила его и гибкость вместе взятые подобрали времени страсти. Непокколебимость свою он прятал, как клинок в ножны безмолвия. Но одновременно он слышал музыку своих легких, дыхание своей жизни, энергию, исходящую от его тела, пронизывающую все его существо. Вселенную и самого себя сжимал он в одном объятии.

— Что делают руки мои, плечи мои, лоб мой, когда я бросаюсь на секвойю? Все это есть продолжение моего дыханья.

Он становился летучим, легким, неосязаемым, подобным ветерку. Мысль порождала его с пеной. Одна снежинка могла бы изменить его вес.

Кэнко ел, чтобы взирать, фантазировать, размышлять. В открытые лаковые футлярчики он выкладывал красные параллелепипеды со звездочками, или ромбики цвета слоновой кости, или наперсточки зеленой горчицы, или тончайшие полоски, свернутые в кольца Мёбиуса. Фарфоровые чашечки у него были почти прозрачные, тарелки — как легкие лодки под парусами, были шары, будто разрубленные кривой турецкой саблей точнехонько надвое, и палочки, которыми можно ковырнуть вечность. Строгая красота.

Самори ел, чтобы внести разнообразие, ошеломить, восхитить. Кружевные салфетки кокетливо красовались подле строя рюмок и бокалов. Стол, накрытый для торжества, для приема, напоказ. Никогда не угадаешь происхождение того или иного блюда. Трюфели, печенье, чай позволяли путешествовать в мечтах по географической карте грез. Открытия, новизна нездешних вкусов, пересекавшихся под покровом тайны. Я ожидала риса — появлялись пророщенные споры. Я представляла себе белое — возникало зеленое. Он стряпал, чтобы разрушить привычные связи в моем сознании и поразвлечь мое небо.

Чтобы дать мне взгрустнуть, развеяться, забыться. Чтобы, испробовав экстаза, мой аппетит устремился к непреходящему.

А в Особняке глубокой ночью сестры одна за другой совершали налеты на холодильник. Попотчевав калеку долгим, согласно церемониалу, ужином и уложив его в постель, они устремлялись вдвоем на кулинарную вылазку. Точно два хищных зверька. Голод ли мучил их так жестоко? Или нарушение всех и всяческих норм являлось неожиданной целью их пиршеств? Некая сила нездешнего происхождения двигала ими в этих налетах на холодильник. Ритуал ли совершали они? Дирижировали оркестром без музыкантов и без публики?

Сестры обжирались по своим, так сказать, неканоническим нормам. Они отдавали предпочтение пище грубой, тяжелой, омерзительной. Делая выбор между бифштексом с гарниром из сморчков и вешенок и вчерашними макаронами, засохшими до состояния картона, они остановились бы на макаронах. Без колебаний. Поливая их майонезом — магазинным, из тубика. Он был только-только из холодильника, еще запотевший с мороза.

Чего так настоятельно требовала их природа — пищи или умерщвления плоти? Аппетита или отвращения? Они являли утонченно скорбное зрелище. Им хотелось только самого мерзкого. Особенно тянуло их на холодненькое. Тайный культ мороженого, исповедуемый подростками, был возведен сестрами в поклонение. Как они лизали, сосали, грызли замороженные ломтики жареного картофеля — точно это были леденцы. Найдя кастрюльку супа, на покрытой инеем поверхности которого айсбергами топорщились замерзшие гренки, они ели его не ложкой, но вооружались для этого молотком и долотом. Они облизывались, хрустя, в упоении, обжираясь слезами светляков,

осушенными горем. Стремилась ли сестры избежать страдания? Верили, что оно не присуще всякой жизни? Надеялись обрести покой, положив конец волнению в утробе? Мученической ли смерти искали они, примкнув к секте обжор и опорожняясь в отхожем месте? Извращали законы, дабы уклониться от них? Не видели, что кружат, и не более, вокруг краткой судороги вымученного удовольствия?

А Кэнко — измышлял ли он очевидное себе в ущерб?

— Можно вовсе не есть, лучше, когда не чувствуешь голода. В первую пору жизни людей иные совокуплялись как животные. Наслаждение же рождалось от унижения женщины. Во второй период они освоили технику продления, чтобы угодить ей. Соитие не завершалось семяизвержением. Они научились — в тот момент, когда оно должно было произойти, — втягивать семя, заставляя его вновь подняться до самых висков и оросить мозг. В третьей же фазе, совладав с эякуляцией, они победили и желание. Никогда больше не чувствовали они голода. Путь ведет не к угасанию, но к озарению.

Сестры прибегали к шоколаду, чтобы унять сердечные горести. Поплавав, они больше не нуждались в нем. Быть может, в шоколаде содержался амфетамин? Опий? Кокаин? И это было действеннее, чем нюхать клей для велосипедных шин? Чем забытье?

Сгущенное молоко из тюбиков они высасывали залпом, сливки черпали из банок большими ложками. Они закладывали бутылки фруктового сока в морозильник, а потом доставали их, превратившиеся в лед. Срезали ножницами пластиковую оболочку и сосали огромные льдины. Смазав их топленным салом и посыпав тертым сыром.

Чтобы есть и в постели, тайком от калеки, они прятали кружочки колбасы в карманы ночных сорочек. И паштет, пригоршнями, даже ни во что не завернув. Они заглатывали сваренную в мундире картошку прямо с кожурой, неочищенные фиги, яйца в скорлупе, креветок целиком. Уплетали шпинат с тортом «Наполеон», фасолевый суп с малиновым мороженым. Поглощали селедку с ромовыми бабами, йогурты с ливерной колбасой, требуху с молочным коктейлем.

Что же — по мере того, как сестры набивали желудки, мир вновь становился для них неопровержимой сказкой? Притчей с чудесами и без волшебства? Составлялось ли у них все более ясное представление о Боге? Что это было для них — свинья на откорме? Как же могло человечество молиться ее образу?

Когда начинало светать, они еще ели, облизывая перепачканные соусом руки. Ладони служили им ложками, вернее даже — черпаками. Они сидели верхом на стульях перед открытым настежь холодильником. Изничтожали напоследок то, что было упаковано, завернуто в бумагу. А свинья, как чистейший элемент между сполохами и небом, верно, являлась им в лучах сияния, в холодильнике, на самом верху, в окружении ангелочков-поросят, венцом их пира?

Отчего Бдения поразили Самори, отчего заполонили они его мысли?

— Ты читала описание убивицы в газетах?

Знал ли он мужское начало потому, что предпочитал женское?

— Я бы хотел быть юдолью мира.

В Зимнем Саду благодать была сокровищем, не поровну поделенным между разными особями одного и того же вида насекомых. У муравьев были царицы и слуги, во-

ины и рабочие. Среди воинов различали разведчиков и бойцов. Среди разведчиков имелись вожаки и сопровождающие. Среди вожаков — идущие впереди и второй эшелон.

Почему же калека не установил иерархии меж сестер?

Самори был подвержен приступам любопытства и безразделен в своей уверенности.

— Если бы ты знала, до чего интересуется меня эта девушка! Я представляю себе, как она, идя по улице, отвечает на заигрывания незнакомца, который годится ей в деды... чтобы часом позже перерезать ему горло. Она, похоже, ненасытна! Это цикада, как я, или, еще того лучше, скарабей-носорог! Она и почтальона убила — той же самой бритвой.

Порой, нагибаясь, я чувствовала себя прямой, опорожняясь — полной; я дрожала от неизвестности, и время утекало из меня. Для Самори все было абсурдно:

— Тщетно я набираюсь женственности... Стать можно лишь копией копии. А вот ты — в тебе есть непосредственность числа Один.

Полагал ли он, что тот, кто не ведет себя согласно правилам, утрачивает свою единичность? Неутолимая ли горечь заточила его в темнице точности?

— Я побывал в квартире почтальона. Сосед, у которого был ключ, позволил мне зайти посмотреть. Я так много понял!

Лежа на циновке в Небесном Своде, я представляла себе Особняк Государством. Суть была та же, но оно простерлось на целый континент. Им правил калека, он утверждал законы, жаловал чины и требовал лишать каждого гражданина по достижении пятнадцати лет правой ноги. Представитель и вожак общества, состоящего из

миллионов человеческих существ. В котором каждый был счастлив, зная, что высшая благодать даруется с увечьем. Все думали, что усекновение угодно Богу и необходимо по законам этики и истории. Они сочиняли оды и гимны, воспевая это правило поведения. Лирическая поэзия и эпическая проза ратовали за этот нравственный закон. Самые острые и самые умеренные умы прославляли его в своих эссе. Ученые анализировали увечье и утверждали, что ампутация является практическим следствием мудрости.

Кэнко полагал, что промахи совершает ирреальное тело. Быть может, он жил в городе ирреальных тел? Сомнительных удовольствий? Туманного настоящего? В вечности дрожащего?

Швейцар Консерватории вышел мне навстречу:

— Мне так совестно за то, что мы сделали тогда с тобой в подвале. Но я не виноват. Это все сторож — суший дикарь. Сам не пойму, как я мог потерять голову...

Я тихонько удалялась от полудня. Залюбовавшись совершенством момента. Я видела гармонию между небом и голубем, спорхнувшим на тротуар. А меж тем они, казалось, были частью хаоса, непрерывного и необычайно плодотворного.

— Сторож мой приятель, но он только и думает, как бы совершить свинство. Он хочет опять е... в Консерватории. Пришлось мне с ним потолковать. Я не дам ему до тебя дотронуться. Он и не увидит тебя больше, я не допущу. Знаешь что? После той ночи я только о тебе и думаю. Все время. Мне так хотелось снова тебя увидеть. Я только боялся, что ты держишь на нас зло... Ты была бы тысячу раз права! Когда я на тебя смотрю, у меня мурашки бегут по затылку. Ох, как ты глядишь на меня! С какой любовью! Я тоже сильно люблю тебя. Очень, очень сильно! Сильнее,

чем ты можешь себе представить. Одно тебе скажу — смотреть на тебя еще лучше, чем то, что мы делали в подвале. Если сторож будет тебе докучать, ты только шепни мне. Я его пополам разорву.

Сторож шел за мной до самого Леса, а там загородил мне дорогу:

— Что ты здесь делаешь? Ты помнишь... еще помнишь? Как здорово мы втроем... А швейцар-то — олух первостатейный. Это ведь я тебе нравлюсь... правда? Когда захочешь... еще такую ночь... только кликни меня... У меня, между прочим, травка есть... случайно, один друг принес большущий пакет... А еще у меня дома есть кино-проектор... порнофильмы... самые лучшие... первый сорт, там такое... У меня уже встает... Потрогай.

Лежа на циновке под стеклянной кровлей Зимнего Сада, я слушала лишь свое дыхание и свою душу. Ничто больше не содрогалось. Вращалась Вселенная. Мир укреплялся в благодати бесконечности. Я видела трепещущую былинку на звезде. Мое тело парило в пространстве. Я ощущала пять чувств, пять планет, пять гласных, пять звуков. И возникали пять цветов — красный, белый, синий, желтый и зеленый. Все стало от них ослепительным. Девственно чистый свет залил меня, дрожащий, безграничный, мой.

Внешний круг обрамлял меня, точно огненный барьер.

По прочтении нижеследующих страниц тот факт, что убийца с заранее обдуманном намерением готовилась к посягательству на жизнь (путем перерезания горла) вышеупомянутых Фернандеса Арройо («сторожа») и Сайнца («швейцара»), можно считать доказанным.

Из полицейского протокола

Посредством какой стратегии сторож и швейцар Консерватории могли быть зарезаны и окончить таким образом свое бдение со мной и бритвой Пикассо? Кэнко понял мое пламенное желание, как будто я передала ему свои мысли.

— Представь себе двух шершней. Предположим, они связаны за лапки одной ниткой. Оба хотят улететь. Обнаружив, что это невозможно, что они делают? Сцепляются и борются друг с другом: каждый считает, что другой мешает ему освободиться.

Охота без охотника — была ли это парабола? Урок? Кэнко, не раздумывая, пренебрегал неотложными делами, чтобы расточать потоки слов утешения:

— Два шершня пожрут друг друга. Победитель, прижатый тяжестью побежденного, не сможет подняться. В агонии он станет добычей алчных муравьев-трупоедов.

Калека и сестры переживали упадок как часть своей биографии. Они знали, что в здоровье коренятся болезнь и смерть, а в весне зима.

— «Он» скоро умрет. Не протянет и двух месяцев, точно говорю. А после... занавес. Время мало-помалу источило нас.

Калеку бросало в дрожь при мысли, что «Ему» недолго осталось жить, — он так желал этой смерти. Хаос стремительно надвигался на охрипшие глотки.

Когда я вышла на улицу, швейцар Консерватории уже во второй раз поджидал меня. Ничему не удивившись, он завел апологию жалости:

— Унижай меня, если хочешь. Ударь меня, плюнь мне в лицо. Оскорбляй меня... только избавь от худшего: не молчи, как в прошлый раз. Я хочу слышать твой голос. Скажи мне, что ты простила нас за то, что мы с тобой сделали. Это было насилие... мне нет прощения, но ты...

Швейцар остановил меня посреди улицы. Схватил за руки. Посмотрел в лицо. Долго стоял так, не говоря ни слова. Я вглядывалась в его темные глаза. Мне подумалось, что разум питается от всех клеток тела.

— С какой нежностью ты на меня смотришь!

Небесный Свод, в непостижимой своей мудрости, не был теоремой, доказуемой с помощью логики. Он познавался через опыт, непередаваемый настолько, что к нему невозможно было прийти рациональным путем. Что таилось в глубине моих глаз? А в глазах паука-солнца? И почему змеилось безмолвие, порождение духа?

Калека и сестры прозябали в своем затворничестве. Быть может, они хотели обернуться личинками? Окуклиться? Вылупиться бабочками-сфинксами? Они никуда больше не выходили даже вечером в воскресенье.

— Времена переменялись, надо приспособливаться... и... почему бы нет?... возможно, и сотрудничать!

Все трое перемешали свои воспоминания. Вместе с опасениями, фобиями, тревогами. Это месиво из памяти и страхов наделило их роковым воображением. Былые битвы, вчерашние войны, полагали они, еще породят страшную месть.

— За нами придут и всех арестуют.

Впервые калека вслух оправдал тех, кто одним ружейным залпом лишил его ноги.

— Перенеси чемоданы в Зимний Сад.

Перенести или похоронить? Просил ли он свое прошлое перенестись или вознестись на небо? Чемоданы и шляпные картонки, набитые форменной одеждой, вырисовывали созвездия в Небесном Своде. В воображении калеки сам Зимний Сад возносился с земного уровня к райским высотам, и пепел превращался в искры, и желания в пламенное свершение.

— С какой любовью ты на меня смотришь!

Швейцар вел свой челн меж двух рифов: полного незнания и неведения вкупе с непониманием опыта.

— Ты мое мучение.

Все ли на свете было болью? В деянии или в силе?

Пикассо уже почти оглох и замкнулся в своих категориях. Звуки этого мира не проникали сквозь стены его хрустальной обители в лунных обломках и пыльных пределах. За стальными дверьми Усадьбы притаилась бумажная химера. Пикассо рассматривал меня, щуря свои совсем близорукие глаза, как будто я была недоступной пониманию философией, воплощенной в женском теле. Семь дней, с полудня до вечера, провели мы, когда мне было пятнадцать, в его мастерской, подобные двум стрекозам, замороженным светом телеэкрана.

Швейцар Консерватории испытывал, за порывом, за памятью о ночи в подвале, тоску по счастью, неотвязную, как боль.

— Когда я с тобой... даже если ты меня в упор не видишь... я так счастлив!

Тогда швейцар и сторож захотели унижить меня. Что же, это поругание помогло им достичь исступленного вос-

торга? Был ли оргазм таким таинством, каким казался? Обладал ли он конкретной реальностью? Повернул ли вспять ход их мыслей? Коснулись ли они головой подножья познания? Вытеснил ли их удовольствие страх?

Другие женщины плодились, как улитки на розовых кустах. И поэтому мужчины покрывали их. Быть может, они вошли в меня оба, чтобы превратить в личинку, пригвожденную гарпуном? Знали, что мне не произвести на свет дитя? Испытывали жажду наслаждения? Неутолимую? Жажду жизни? Вечной? Инстинкт ступил на почву тлена — исступленно? Под завесой рефлекторного скрывалась целая система выделений и отделений. Будь со мной подарок Пикассо, Бдение в Консерватории закончилось бы для них вечным сном без пробужденья.

— Ты снишься мне. Ты — вся моя жизнь. Позволь же мне приблизиться к тебе.

Что же, швейцар, вкусив неудобоваримого наслаждения, возжаждал нежности — чтобы до тошноты? Возможен ли обратный ход? Едины ли нежность и наслаждение в пене своей? Образуют ли они порочный круг? Откуда эта нежность — извлек ли ее швейцар из массы информации, которую накопила его память в ту ночь в подвале? Эти факты, сохраненные в виде символов и слов, сложились в некий чертеж. Мог ли он сам внести поправки в эту карту? Изменить понятия? Воссоздавал ли он ту сцену в подвале и сочинял дальнейшие перипетии?

— Неужели ты не понимаешь?.. Я так тебя люблю!

Среди стимулов, будораживших его разум, швейцар выбирал те, что направляли к нежности. Он пребывал наедине с чувством, лицом к лицу, в застенке томления.

— Я люблю тебя всей душой!

Из воспоминаний швейцар отбирал те, что подходили ему эмоционально. Из сублимированной памяти и прихо-

тей чувств сплетались его безотчетные помыслы. Отождествлялись ли они со своей биологической основой? В какой части тела они локализовались? Можно ли было со всей категоричностью исключить живот? Мозг? Глаза? Сердце? Руки?

— Я не тот, кого ты тогда видела, для меня... всегда... самое главное... не красть, не убивать, не лгать, не напиваться допьяна, не... гулять с другими женщинами.

Швейцар верил в мораль пяти воздержаний. И мечтал сокрушить ее. Какую же роль отводил он мне в акции уничтожения? Стремился ли он к вящему ублажению своего тела, и только?

В Небесном Своде был Аптечный Шкаф, открывала который только я и лишь для того, чтобы убрать туда мои баночки с бальзамами. Я сама готовила снадобья из пепла отходов моего тела, которые жгла и перемешивала с пылью. Они таили в себе прообраз процесса, ведущего к распаду энергий и необратимому нарастанию хаоса.

Самори тоже предавался мечтам:

— Она, убивица, понимает, что ее тело предназначено первому встречному с наступлением темноты. Она убивает только в ночи. Солнца яркий свет мешает ей справлять свой ритуал.

Самори догадывался, что упадок был неотъемлем от нашего настоящего. Это низвержение в хаос страшило калеку. Самори же видел в нем положительные стороны. Любой физический или умственный процесс способствовал ускорению распада.

Самори взирал на это завистливо и алчно:

— Обе жертвы, старик из Кинозала и почтальон, испытывали перед смертью оргазм. Я читал заключение судебно-медицинских экспертов. Теперь полиция должна наконец установить связь между двумя убийствами.

Как можно с точностью взвесить что-либо на весах, если гири с подвохом? От перемены примет меняется ли сам человек? Может ли сонм беззубых мелочей добраться до самой сути?

— Убивице, говорят, лет около двадцати двух, хотя выглядит она на двадцать. Я же уверен, что ей не больше восемнадцати.

Самори нюхом чуял то, что было скрыто.

— Она возбуждает и убивает, эта убивица. Такую женщину лишь мужчина, сам женщиной быть мечтающий, способен понять. Я был в Кинозале. Видел пятна крови на ковровой дорожке в последнем ряду. Я сидел в том самом кресле, где сидела она. Там, в темноте... я стал этой женщиной. Муравьиной львицей, которая, готовясь взлететь, убивает самца.

А в Небесном Своде после брачного полета муравьиная царица самца не убивала: он падал наземь и сам умирал вскорости, точно обессиливший путник без крова и пристанища, беззащитный перед всеми хищными насекомыми Зимнего Сада.

Кэнко говорил, что следует путем богов. Высший порядок бесконечности он одолеть не мог.

— Ты и я — мы с тобой в одной «конюшне».

Какое волнение царило в муравейнике сентябрьскими утрами, когда царица в первый и последний раз в своей жизни взлетала! Рабочие муравьи в возбуждении бегали туда-сюда. Они расширяли входное отверстие. Пичкали ее пищей напоследок, снаряжая в свадебное путешествие.

Когда Кэнко тренировался, босиком и почти не прикрытый одеждой, бросаясь на секвойю, кем он себя ощущал? Муравьиным фараоном? Слепнем? Стрекозой? Москитом? Зеленой тлей? Черной пчелкой? Воином-комариком?

Муравьиная царица взбиралась на травинку. Усики ее трепетали и подрагивали. И вдруг она отрывалась и взлетала, оставляя землю внизу. Впервые в жизни телом своим рассекая воздух. Она парила над землей, поблескивая, как шарик ртути, как тайная, непостижимая округлость судьбы.

Кэнко шел со мной рядом вдоль проспекта под сенью деревьев. Он раскачивался на ходу. Занимал правую, потом левую сторону мира. Он привлекал внимание прохожих духовностью, заключенной в его всеобъемлющем теле.

— Хамелеон может меняться, но не суть его.

Муравьиная царица соединялась в воздухе с самцом. Долгие часы парили они вместе.

Мы с Кэнко дошли до фонтана. Машины кружили вокруг нас. Склонившись над колодцем, Кэнко крикнул:

— Я!

Когда заканчивался воздушный век муравьиной царицы и самца, они возвращались на землю. Самец — чтобы умереть. Царица же тотчас находила отверстие в земле, под камнем или травинкой.

Кэнко погрузил руки в воду. Что делал он — медитировал?

— Вода — первичный элемент. Она порождает жизнь быстротечную.

Спрятавшись в колодце без воды, муравьиная царица упиралась в землю четырьмя лапками и отрывала, сбрасывала крылышки. Чтобы никогда больше не взлететь. Отныне ей предстояло жить в заточении десять, двенадцать или двадцать отпущенных лет. Стремилась ли она свыкнуться со смертью? Яйца ее, бесчисленные, как песчинки, разъедаемые смыслом своим, — видела ли она в них всё, чем чревато продолжение рода? Или просто не могла вынести сияния света?

Вот и швейцар Консерватории искал потемки.

— Полюби меня! — молил он.

В растерянности своей угадывал ли швейцар, что есть связующая нить между причиной и следствием? Понимал ли он хоть смутно, что рождение обуславливает смерть? Ощущения — предмет? Чувства — эмоциональную ценность?

В Небесном Своде желтый свет исходил от земли, зеленый свет — от окружавшего меня воздуха, но свет бесконечности озарял и фонарь, и пламя, и огонь, и смерть, словно око из иного мира, где чистое непреложно чисто.

Изувеченная, заточенная, в тягостях материнства, муравьиная царица становилась воплощением образа могилы, как воскресение воплощало томительный ужас, а два шершня, связанные за лапки одной ниткой, — искупление.

В Камине Небесного Свода сжигала я свои волосы, жир, слизь и нечистоты. Все исчезало бесследно.

У меня было женское тело, но оно не даровало жизнь. Я просто была — и все.

Убийца готовила двойное преступление со всем хладнокровием и решимостью, о чем свидетельствуют нижеследующие страницы.

Из полицейского протокола

Сторож думал, что он по своему выбору хотел увидаться со мной. Так и мотылек-смертник выбирает свой путь, когда порхает с цветка на цветок. Сторож пока избежал подарка Пикассо, но он оставался верным на него кандидатом.

— Ты заморочила ему голову, а этого я терпеть не намерен, швейцар — он мой друган!

Сторож думал, что это он искал меня и нашел. Так и фокусник мог бы решить, что карты сыплются из его рук бесконечно. Что он хотел мне сказать? Все ли решения представлялись миражами?

— Если ты не оставишь его в покое, учти — это плохо кончится.

В Зимнем Саду жуки-скарабеи боролись за обладание самками. Самец был готов пожертвовать своей силой, чтобы спариться с несколькими сразу. Самка — жертвовать изобилием других союзов, чтобы сожительствовать с одним самцом. Напряженность и конфликты мешали нормальному ходу эволюции видов.

— Я знаю, что ты встречалась со швейцаром и заарканила его, он влюбился в тебя, как зеленый пацан.

Шлюха, дешевка! Забудь все, что я сказал тебе в прошлый раз. Никакой травки, никаких фильмов. Ты придешь ко мне только для серьезного разговора на эту тему. Я тебя презираю.

А Самори презирал своего дядю:

— Торгаш!

Для Самори у дяди были огонь и деньги. Он с легкостью переходил из одной сферы в другую и обратно. Он изливал свет, сжигая его, и коллекционировал билеты, что составляют богатство на континенте без бабочек, без крыльев и троп для соблазна, без прозрачности.

— Он покупает и продает художников. А насчет меня и знать ничего не желает. Я его племянник!

Каждую картину, проходившую через его руки, Самори представлял себе медленно превращающейся в экскременты.

— Он думает, что может даровать бессмертие. И только мне он в нем отказывает. Он держит меня за декоративную фигуру, когда устраивает праздники, — и только.

Ведомы ли были его дяде точки соприкосновения, общности, подобия меж богатством и славой? Меж нашим бранным телом и облаками в небе? Меж нашей кожей и камнями? Полетом и ветром? Неотвратимостью и страхом?

— И — держись крепче! — Пикассо прислал ему письмо после твоего визита, и речь в нем шла не о продаже картин, а о тебе. Это, несомненно, последний автограф Пикассо. Завещание маэстро получил делец. Как будто бизнес и эстетика могут ужиться вместе.

А разве они не связаны самым тесным образом?

— В сущности, мой дядя никогда не задавался целью поддержать художника — напротив, он стремился его

уничтожить, заставив отречься от своего «я». Служителей муз дядя превращает в машины по изготовлению дорогих его сердцу банковских билетов.

А Пикассо — признавал ли он пустоту всего создаваемого?

— Современное искусство надо убить... Не довольно ли? Ведь все уже сказано.

Пикассо выключал телевизор и брался за кисти.

Быть может, лишь художники Небесного Свода не ведали этого уныния?

Старинные картины, расставленные в ряд, одна за другой — то было нагромождение декораций театра Этого Мира? И последний час с его безмолвной скорбью отражал живые тени?

Самори допытывался, что делала я с Пикассо три года назад и как провела те семь ночей с ним наедине в его Усадьбе.

— Мне удалось узнать, что убивица — женщина с виду нежная, с пленительными глазами. Официант из бара сказал мне, что она слушает как замороженная. Что она красива. Видно, не из простых, богатенькая шлюшка, так он сказал.

Неужели тело по сути нечисто? Неужели привязанности были источником печали для Самори?

— У этой убивицы голова работает в ту же сторону, что и моя. Мне только мужества недостает, а будь я способен убивать тех, кто желает меня, я тоже делал бы это бритвой.

Иногда я просыпалась в пустоте. Мысли моей не под силу было определить, где это. Иногда это чувство было настолько глубоким, что мне удавалось ни о чем не думать.

— Дважды она убила одним и тем же способом. В первый раз, в Кинозале, она действовала в открытую.

Мне пока не удалось найти никого, кто знал бы что-нибудь о ночи второго убийства. Но я не теряю надежды.

Когда я просыпалась, мысль моя становилась эфемерной. Она непрерывно подпитывалась чем-то новым. Отлогими лучами рассвета. Самори мог распусться, как цветок.

— Будь я женщиной, я был бы той, из Кинозала... Но, хоть я и мужчина, я обладаю, когда хочу, пятью элементами женственности: я могу предстать в физическом обличье женщины, мне даны ее чувствительное сердце и ее способность к классификации; я столь же успешно сочетаю подсознательное и бессознательное и обладаю ее склонностью к дискриминации. Вся мою жизнь я, подобно женщине, могу сосредоточить вокруг двух центров притяжения, и центры эти — субъект и обстоятельства.

Просыпаясь в Зимнем Саду, я смотрелась в зеркало. Я видела в нем себя и все остальное. Отражение всего вокруг и горных вершин. В радужных переливах, как на пузырях пены.

Сторож изнемогал в ожидании. Чем была для него надежда? Пеной от двух столкнувшихся волн?

— Я с тобой разговариваю, изволь меня выслушать. Довольно, не гляди по сторонам, как будто тебя это не касается!

Неужели есть непримиримое противоречие между вожделением и ладом? Между сексуальным влечением и гармонией в какой бы то ни было группе? Что же, у муравьев Зимнего Сада было самое стабильное общество, потому что женские особи в муравейнике составляли активное большинство, трудовое и бесполое, а мужские были пассивной паразитирующей группкой и занимались полезным делом лишь несколько минут за всю свою жизнь, в день смерти и вне муравейника?

Сторож внимательно рассматривал мое ограниченное кожей тело. От пяток до кончиков волос он вычленял взглядом нечистые его части:

— Ты грязная шлюха с головы до ног. Ишь ты, ишь ты, как задом-то вертишь... Ну и ну... Вот, значит, как ты швейцара с ума свела. Нет уж, ты это кончай — заводить каждого встречного!

Почему два пола так несхожи? Почему их только два, а не четыре и не семь? Почему так различна анатомия мужских и женских особей? Одно тело есть дух, а два суть совокупление?

— Я мог бы отлупить тебя как следует, и по заслугам.

Стало быть, агрессивность являлась неперменной фигурой любовного танца? Почему же у наиболее примитивных насекомых самки механически отвечали на нее пугливостью? Чтобы достаться лучшему из самцов? И осторожные, двусмысленные ответы имели целью побудить к новой агрессии, чтобы выбрать лучшего партнера?

— Что ты такое сделала давеча со швейцаром, что он весь сиропом истекает? Сколько раз ты ему дала, стерва? Я бы тебя...

Какие же привилегии давала самцам агрессия? Сторож смотрел на меня с такой похотью, что она становилась осязаемой, как дыхание:

— Потаскуха ты, вот ты кто.

Допускал ли он, что мое тело состоит из кожи, костей, плоти, зубов, легких, сухожилий, что в нем есть слюна, слизь, моча, слезы, жир, нечистоты, гной и кровь? Скопище секретов, разливающихся трепетом?

— Кончай смотреть на меня так. Уж я-то не попадусь на твои уловки!

Ярость — стихия воздушная, теллурическая, влажная. Но тело сторожа, покорное судьбе, охватил пла-

мень. Он был вне себя от вожделения. Чтобы обуздать свою фантазию, он измышлял мерзкие, в его разумении, подробности:

— Так и вижу, как ты, сука, на четвереньках в грязном углу даешь швейцару сзади. Ах ты подстилка! Ты мне все расскажешь. И будешь глотать каплю за каплей, как тогда, в Консерватории. Смотри, у меня гусиная кожа от одной только мысли.

Интуиция служила лишь для того, чтобы живописать плод воображения. Была ли обращена к воспоминанию ревность сторожа? Ей ли благодаря достигал он полноты жизни? Было ли его целью запугать? Привлечь? Или уничтожить? Самец тли-ткача, оплодотворив самку своим семенем, оставался на ней после этого еще час. Из ревности ли он удерживал ее? Из духа соперничества? Чтобы не допустить к ней другого самца? Ревность — была ли она буйством фантазии? Трепетала ли огненной бабочкой меж ветвей сомнения?

— Ты ложишься под каждого встречного... И не стыдно тебе? Тогда, в Консерватории, я ведь тебя особо и не принуждал. Стоило только ко рту твоему поднести... как будто так и надо было... Ты и не думала артачиться. Тебя целый полк мог поиметь. Тебе же все равно с кем. А этот бедолага разум потерял... сгорает из-за тебя швейцар, как свеча, сгорает заживо. Нет уж, я этого не потерплю... я тебе запрещаю...

В Зимнем Саду два одинаковых насекомых никогда не были идентичны. Даже две молекулы не повторяли друг друга в точности. Каждой отдельной плоскости бытия соответствовал внутренний процесс. В бесконечных пространствах помещалось бесконечное множество миров. В ревности же пространство смыкалось. Развитие поворачивало вспять, жизнь угасала, импульсы разле-

тались вдребезги, то был горячечный бред мгновения в себе. Ревность уподоблялась памяти, которая не удерживает, но изничтожает. А сторож продолжал причитывать:

— Не смотри на меня так. Не смотри глазами влюбленной женщины. Как будто ты меня любишь. Как будто ты чиста. Знаешь, почему ты молчишь как воды в рот набрала? Потому что ты умеешь говорить лишь грубые, грязные, бранные слова. Ты научилась лгать глазами, этим невинным взглядом, который ты, как маску, надеваешь на лицо. Ты — змея. Но меня ты так просто не поймаешь. Я тебе не швейцар. Знаешь что? После того как ты свела его с ума, я жалею, что залез на тебя тогда, в подвале. Ты этого не заслуживаешь.

Царицы карликовых термитов в Зимнем Саду откладывали по яйцу каждые две секунды, день и ночь, неделями, месяцами, годами, они давали жизнь и тем самым порождали смерть — бесконечно. Меж суетой и неразумием они жили, вечно рожая будущие бранные останки. Задавались ли они вопросом, что́ есть жизнь — реальность или порыв к сказке?

Самори меж тем рисовал кузнечиков у меня на груди, крылышки восточных бабочек в паху и клешни скорпионов на ногах.

— А если я отрешусь от... наслаждения? Если скажу себе, что отныне оно мне безразлично? Если забуду о том, что вместилище восторга находилось у меня на уровне живота?

Самори говорил все это, рисуя вокруг моего пупка глаз соколиной бабочки.

— Я вполне могу отречься и от счастья, и от его недругов. Я могу обрести покой без радости и страданий. Я могу быть — само бесстрастие.

Кисти округляли мои контуры. Самори стремился к пустоте мысли, к безмолвию, сумраку, круговращению и абсолютному движению, к вибрации небытия в неосязаемой отрешенности.

— Когда я расписываю твое тело, я выключаю все чувства и мысли. Я опорожняю свой ум от воспоминаний, от всего содержимого.

Иногда мое опустошенное сознание напоминало мне о бесконечности. Я видела, как мысль течет где-то рядом. Точно река. Она проносилась мимо, а я смотрела. Потом река вставала. И я ничего не видела. Ничего. Голос сторожа пробудил меня:

— Долго ты еще будешь измываться над нами? Ты возомнила, будто... Потому что ты... В общем, ты решила, что имеешь на нас права? Не верится мне, что швейцар назначает тебе свидания. Он болен с тех пор, как давеча встретил тебя. Что ты с ним сделала?

Мое тело стало полем битвы, а я была в нем заперта. Точно сверчок в клеточке. Как можно было избежать телесных мук?

— До чего ты меня довела, посмотри, я... словно племенной жеребец. От твоих уловок встанет и у железного. Но все равно, до чего же ты мне нравишься, спятить можно!

Несколькими часами раньше я зашла в Особняк. Калек сидел, откинувшись на спинку плетеного кресла, глаза его были закрыты. Старшая сестра брила его. Младшая мыла ему ногу в тазу с горячей водой. Его руки расслабленно свисали, почти касаясь пальцами пола. Он был весь залит солнцем.

— Солнечная ванна с утра — и тело мое еще один день выдержит этот упадок, запечатленный в стали.

Кэнко писал мое имя иероглифами. Он поведал мне, что «начало начал» означало также «книга», «меч» и «сила», поэтому иероглиф для четырех слов один. Выводя знаки, составлявшие мое имя, хотел ли он этим удерживать меня? Обнажал ли он мое лицо, губы, мои всплески безудержного веселья и трепет моих горестей?

Мы — Кэнко и я — трижды помылись у него в мастерской. По очереди намыливались мы под душем. Потом вместе забирались в большой деревянный чан. Вода почти кипела. Кэнко произносил благодарственные слова. Мы очищаемся, говорил он, чтобы обрести равновесие. Впервые он пригласил меня совершить омовение утром после ночи Бдения в Кинозале.

А для сторожа жизнь была диссонансом и разладом.

— Я не знаю, как себя сдерживать. От тебя я теряю голову. Кто научил тебя возбуждать так бесстыдно? Умереть, до чего ты мне нравишься.

В Камине Аллюзии Зимнего Сада поленьям, питавшим пламя, полагалось сгорать. И огонь угасал лишь при этом условии. А я — чем я была для сторожа? Лекарством, к которому он прибегал, чтобы изгнать из себя зло, выходявшее испариной и гноем? Неожиданно и необоримо?

— У меня вдруг словно огонь запылал внутри... так больно вот здесь, что... я вразнос пошел из-за тебя.

Когда я возвращалась в Небесный Свод, Знамя Дисциплины на врытом в землю древке реяло на равном расстоянии от воды Котловины и огня Камина. Оно символизировало идеальный мир. Но иной мир, *extra-muros*, был сложен из элементов на грани разложения. То была чувственная модель, близкая к бесчувствию: проворство и тяжесть, горечь и тревога, разорванная тьма.

— Ты мне нравишься до озверения.

Я думала о стороже и о швейцаре. Размышляла о притче про шершней, связанных одной ниткой. Рассказав мне ее, Кэнко написал на листке папиросной бумаги:

«Чтобы испытать жажду, надо хоть однажды напиться».

Уголовному розыску не было известно, что Самори все это время вел собственное расследование преступлений, совершенных убийцей.

Из полицейского протокола

В представлении Самори фантазия стояла так высоко, что являлась для него органической единицей, почти неподвластной времени. Она даровала победу в лабиринте.

— Мне звонил дядя. Дали устраивает праздник в понедельник в своем замке. Мы с тобой приглашены. Надо будет купить тебе что надеть... займемся этим завтра вместе. Туда съедется весь цвет. Как бы тебе объяснить? Вообрази секту людей, разочарованных во всем, но желающих провести незабываемую ночь.

Когда-то, в прошлом, в Небесном Своде имели место соборы, ассамблеи и конгрессы. На них выдвигались гипотезы и принимались решения, которые дошли до меня отрывочно или же обросли легендами. Затем произошли расколы. И в результате родились секты. Раскол Прерогативы способствовал расцвету реформаторской концепции Небесного Свода, которая пролила новый свет на исконные понятия и преобразила их. Но было ли это действительно совместимо с традиционной мыслью? Парадоксальным образом этот реформаторский раскол возымел столь неожиданные последствия, как углубленное изучение первобытных мифов о происхождении Не-

бесного Свода. Оно исходило из посылки о том, что пришествие бархатных муравьев, красных пауков, поденок, долгоножек, скарабейчиков, знамен, семейных фотографий, уксусных мушек создало сложную ситуацию, насчет которой имелось больше гипотез, чем достоверных знаний.

Далее и ортодоксы, и еретики сошлись во взглядах на решающее значение мира *extra-muros* — Особняка, фонтана, калеки и сестер. Этот мир и поныне оказывал влияние на саму структуру Зимнего Сада.

Для Самори мифомания была константой человеческой слабости, отражала общую тягу к чудесному и служила орудием — деликатным, но действенным — для внезапных причуд.

— Дали предлагает им прожить в замке самые наполненные из отпущенных им часов. Это приманка для парочек, которые пресытились всем до тошноты... и все же надеются найти еще что-то на свете, что могло бы их увлечь, озадачить, удивить или повергнуть в смятение.

Швейцар в скотской своей вековечности не рассуждал и уж тем более не размышлял.

— Это ты?... Не может быть... Не сон ли это?... Я не узнал твой голос по телефону. Я люблю тебя до безумия... С тех пор, как я тебя встретил, меня одолевает печаль.

Сколько раз я запиралась в большом сундуке Созвездия Предков! Сидя затворницей в тесной камере, я грезила о бескрайних пространствах. И еще — об отголоске атома снежной измороси в пустоте.

Пылкие желания швейцара подпитывали его возбуждение.

— Хорошо... Я жду тебя в десять вечера... в Консерватории... Я ничего не скажу приятелю... сторожу... не на-

до ему знать... Как же я люблю тебя, любовь моя! Ты придешь, и мы уедем... навсегда... В десять, ровно в десять, сладкое мое мученье!

Я видела себя, одну-одинешеньку, запертую в сундуке. Сундук в Небесном Своде, Небесный Свод в пространстве, в небытии. Внутри его не было больше ни азов, ни их отсутствия.

Чувства угасали, и разум тоже. Ни Кэнко, ни калеки, ни сестер, ни Самори... Разум пустел. На моих глазах соединялись пустота и бесконечность.

Знал ли Самори ту плоскость бытия, нематериальную и без четких форм, где были бы применимы наши чувственные и пространственные категории?

— Я убежден, что убивица немислимо красива, так красива, что почти нематериальна. Это какая-то ошибка природы. Один клиент из Бара сказал о ней: «Вообразите себе марсианку из грёз».

Запершись в сундуке, я провидела бесконечность миров в бесконечном пространстве. И однако же структура у всех была общая и общее происхождение.

Самори сосредоточился всецело и не нуждался более ни в чьей помощи.

— Я провел серьезное расследование. Ни одного убийства опасной бритвой не было зарегистрировано до этих двух. Первое совершено в Кинозале, второе — убийство почтальона... Ручаюсь, убивица готовит и третье. Быть может, желание убивать возникло у нее с тех пор, как она стала женщиной.

Самори следовал стезей желания и фантазии, а порой и путем театрального нагнетания.

— Я хотел бы с ней познакомиться, подружиться, стать ее советчиком. А может быть, донести на нее. То есть, донести на себя.

В Небесном Своде вода в Котловине, бег Электрического Поезда, огонь в Камине были временем, проходящим без путаных троп сожалений, без лабиринта глосс. И ничем больше.

Самори не противился бурной радости обоснований:

— Там, в Баре убивица попросила чашку шоколада. В половине десятого вечера! Быть может, тогда она впервые зашла в Бар. Она села за столик с мужчиной, годившимся ей в дедушки, — преспокойно. Официанты говорили о ней: роскошная шлюха. Это значит на их языке: женщина с изысканными манерами. Одета неброско, но элегантно... И главное — такая женщина, встретив престарелого красавчика с блудливыми ручонками, пойдет с ним без боязни.

В Небесном Своде мысль преображалась в желания, муки, горести, абстракции и медитации. Это духовное сольфеджио было вызовом всевластию пространства.

Самори, помазанник светотени, вел свое расследование:

— Оба раза она убивала в ночи. Ей нужны потемки. Дневной свет парализует ее. Она не достала бы бритву из сумки, даже при самых благоприятных обстоятельствах, средь бела дня. Только после девяти или десяти часов вечера она становится собой. И я тоже становлюсь собой лишь ночью.

Все мое бестелесное имущество, без исключения, запиралось со мной в большом сундуке. Жизнь становилась крошечной, как огонек лампы. Но, регулярно подпитываемый маслом из моих рук, огонек этот никогда не угасал.

Уцепившийся за край небытия Самори жил, ожидая, сытый досыта небом и защищенный нежной точностью.

— Убивница не страшится кары, она не боится полиции и не опасается ареста. По всей вероятности, она просто не верит в жизнь. Так мало она в нее верит, что даже не наложит на себя руки. Ей неизвестно, что существует любовь.

Любовь хранилась, зарытая в землю Зимнего Сада. Это был комочек изжеванной жевательной резинки, который я подобрала на улице. Высохший, он затвердел, как камень. Я выкапывала его и рассматривала крошечный рисунок, образованный складочками. В зависимости от того, как повернуть, они могли означать руки-машущие или ноги-дрожащие. А один раз я увидела запечатленную на поверхности утреннюю звезду.

Для Самори все было чудом из чудес:

— Старикан лапал ее в Баре. Одни говорят, что он лез к ней под юбку внаглую, другие — что исподтишка. Но все сходятся на том, что она его к этому не побуждала, но и не препятствовала. Не смеялась и никак не реагировала. Это особа аскетичная... как я. Она не хуже меня знает, что природа плоти ирреальна, груба, лжива и порочна. Один клиент сказал мне так: «Потаскушка ее пошиба такое вынуждена сносить ежедневно, что от лап старикашки ей уж точно ни жарко ни холодно». А дело все в том, что собственное тело для нее — что-то вроде сковороды в кладовке за кухней. Она не видит его, не чувствует и, когда ее трогают, этого даже не замечает.

Внутри большого сундука, в моем заточении, я созерцала пространство. Я чувствовала себя канатоходцем, балансирующим меж пустотой и бесконечностью. Меж сознательным и бессознательным. Толчком ноги я приподнимала крышку, и сундук переставал быть яйцом.

А сторож — соотносил ли он один дисбаланс с другим, перебрасывал ли между ними мостик?

— Я знал, что ты мне позвонишь... С тех пор как мы расстались, я просто помешан на тебе. Как жаль, что тебя нет рядом... Крепко ты меня зацепила, до самых печенок... Все потому, что ты королева суперпотаскух. Ты ведь и сама без ума от меня, верно?

Все в мире было связано между собой, подобно концентрическим и неразрывным кругам, непостижимым образом повторявшимся.

Сторож нежился в лучах сияния:

— В десять вечера, в Консерватории, час самый подходящий. Ух, так и съем тебя живьем. Но знаешь, я тут подумал, дружок-то мой, швейцар, тоже там будет. Послушай хорошенько, я тебе так скажу: не обращай на него внимания. Он сиропом исходит. Если так дальше пойдет, скоро и стихи тебе напишет. Он не понял, какого ты сорта женщина. Невдомек ему, что тебе не вирши нужны, а ствол подлиннее. Правда ведь, я тебя понимаю, моя красавица, моя шлюшка? До чего ж ты аппетитная! У меня от тебя взыграло, как у молодого козла...

Что называлось любовью? Откуда этот внезапный жар в сплетенье рук?

Сторож рядился в петушинные перья иллюзии:

— Знаешь, я от тебя и вправду балдею... как никогда, если честно. А уж сколько баб у меня было, не счесть. Швейцару не надо ничего знать... Он такой отсталый.

Иногда в Зимнем Саду я часами сидела с закрытыми глазами в кромешной темноте. А когда я их открывала, свет, проникавший сквозь стеклянную кровлю, заливал Небесный Свод. Весь Зимний Сад внезапно наполнялся бликами. Солнечные лучи озаряли сундук и знамена, созвездия и монастыри Небесного Свода. Земля принима-

лась за работу: спешили своими тропками сороконожки, жужжащие мушки выбирались из укромных местечек и взлетали, отчаянно трепеща крылышками, словно исполняя литанию обожания. Червячки-буравчики ползли, извиваясь, по равнинам Зимнего Сада. Вода в Котловине была пронизана лучами. Я закрывала глаза — и вновь Небесный Свод познавал ночь. Свет и тьма были близнецами, владевшими общим наследством. Как любовь и нелюбовь? Как сжатый сполох и расплывчатая тень?

А сторожа все глубже засасывало в воронку:

— Ты ушла так быстро. Бросила меня. А мне так хотелось, как никогда в жизни. Ты моя. Твое тело принадлежит мне.

Чем было мое тело — Небесным Сводом? Миром? Космосом? Пространством? Полем битвы? Жертвой, провоцирующей неразумных палачей?

Сторож скрывал огромную свою неуверенность без руля и ветрил:

— Я жду тебя ровно в десять часов вечера в Консерватории. Как только придешь, мы отбудем на всех парах. Прямым курсом в койку!

В Небесном Своде после сохранения камен родился план космовидения, который был и скромнее, и смелее всех прежних. Смелее, ибо мысль одушевилась, позволив мне быть тем, чем я была. И скромнее в том смысле, что он признавал невозможность уклониться от требований, предъявляемых повседневной жизнью.

Самори вливал каплю душистого масла в мое правое ухо и вплетал черный василек в волосы. Он смотрел на меня, как смотрелся бы в зеркало:

— Как же мне не терпится! Я еще не знаю, что из тебя сделаю. Быть может, уберу твою голову лотосами и веточками белого аронника. Могу еще нарисовать крошеч-

ную бабочку-траурницу, черную с желтой каймой, у тебя на щеке. Дали будет хозяином и распорядителем праздника. Я хочу, чтобы он знал, кто ты такая.

Когда Самори преображал меня своими кисточками и красками, депиляторами, пудрами и румянами, мне казалось, будто я подсматриваю за собственной жизнью. А сложилось ли бы все иначе, если б я видела себя, вынырнувшую из материнского чрева на свет? Будь я свидетельницей девяти месяцев моего развития в утробе? Мне казалось, будто я опоздала родиться и не успела к себе самой.

Для Самори сумрачное великолепие не гарантировало краткости:

— Туда съедутся люди со всего света. Праздные и несметно богатые. Сливки сливок, Дали самолично их отбирал. Но ты его ослепишь. Я только надеюсь, что мой дядя не явится со своим приживалом-сиделкой.

Мысли множились до бесконечности на извилистых тропах медитации. В Небесном Своде имплицитно ничто не было исключено. Ни реальное, ни ирреальное. Ни замки из песка, ни меланхолия. Но в то же время я могла поднести ко рту сжатый жар перца, паприки и острого перчика и пробовать их губами, как воду из ложки, как капельку вкуса из пресной химеры.

Томление желания не давало Самори покоя:

— В замке не будет другой такой, как ты.

Мысль облачала и не разоблачала. Ничто не служило темой проповеди, кроме заповеди. Экстремизм, разжигаемый древним инакомыслием, разделился на столько течений, что кончил самоуничтожением. Это запомнилось как благотворное начало.

Мой разум привыкал не отрываться от физической реальности. Столь успешно, что я знала: настанет день, когда уже никто не сможет сказать, разум ли порождает

императивы реальности или физические характеристики модифицируются инновациями разума. Они пойдут рука об руку.

Сколько сотен или миллионов видов насекомых возникли и вымерли в Небесном Своде с начала времен? Кто обрек один вид на вымирание, а другой на выживание?

Прежде чем я отправилась в Консерваторию, чтобы собственными руками привязать нитку к лапкам двух шершней — сторожа и швейцара, — Кэнко показал мне обряд жертвоприношения.

Кэнко, невзирая на его нелегальное положение, было разрешено временное проживание в Мадриде. Он был, по словам убийцы, существом растленным, оказал на нее самое пагубное влияние и усугубил ее неуравновешенность. Есть основания говорить о нем, как о возможном подстрекателе. Не исключено также участие этого человека в сокрытии убийств.

Из полицейского протокола

Зачем Кэнко с такой точностью продемонстрировал мне, как осуществляется обряд жертвоприношения? Думал ли он, что совершит его однажды? Когда? И чем могло быть мотивировано его самоубийство?

Касалась ли смерть Кэнко его одного или служила публичной церемонией? Он был готов лишиться себя жизни, когда сочтет это необходимым. Выбирать между жизнью и смертью — казалось ли это ему абсурдным, легкомысленным и достойным презрения? В чем состояло для него мужество — в том, чтобы жить, когда надо жить, и убить себя лишь тогда, когда надо умереть? Без нюансов? Во всей полноте момента?

— Словно играя пьесу на театре, я покажу тебе, как приносят жертву. Ты сможешь проследить все действия, составляющие ритуал. К концу жертвоприношения главным окажется твое вмешательство, если однажды мне придется расстаться с жизнью.

Колени его лежали на земле, скрещенные ноги служили сиденьем.

Он открыл футляр. Извлек две сабли, завернутые в светло-серые тряпицы.

Первым надгробным памятником в Небесном Своде была пирамида. Я построила ее из мятных леденцов одинакового размера. На кончике вышивальной иглы внесла каплю крови во внутренние покои. То была первая кровь, брызнувшая из чрева-моего-тела. Я капнула ею на блестящий зеленый панцирь скарабея и с большим трудом начертала на нем эпитафию. То был первый в Зимнем Саду скарабей с письменами, первое совершенное послание, рожденное от благодатной оплошности.

Кэнко извлек из ножен первую саблю. Голубоватая сталь блестела, как бритва Пикассо. Он завернул клинок в широкий лоскут, оставив снаружи лишь дюжину сантиметров от острия.

— Надо закатать часть клинка, чтобы не порезать ладони. Рукоять в обряде жертвоприношения для руки недостижима.

Жизнь для Кэнко была бесценным даром природы. Он полагал, что не след рисковать ею попусту. Какой же хаос мог нарушить его жизненную гармонию и гармонию окружавшего его мира до такой степени, чтобы он решился принести эту жертву, совершив самоубийство?

Пирамида из мятных леденцов поражала своими размерами. Это был самый большой надгробный памятник в Небесном Своде, а между тем единственным его предназначением было хранить капельку моей крови.

Кэнко вынул из ножен вторую саблю. Он положил ее на ковер позади себя.

— Вот эта сабля — для ассистента, стало быть, ты воспользуешься ею в конце обряда. Как видишь, это не ятаган, у нее длинная рукоять, которую ты сможешь держать двумя руками.

Смерть и секс — то были для Кэнко два непредсказуемых и опасных проявления природы? Хотел ли он дер-

жать под контролем оба этих бешеных извержения? Когда Кэнко упражнялся в сумо, он ухитрялся убрать свои тестикулы внутрь живота. Истовость ли его веры хранила его фатальную невинность?

В Небесном Своде погребальные ритуалы были сродни ритуалам культурным. Каждый день я предавала земле хоть одно насекомое, которое утром находила мертвым. Я дышала на его глаза и рот. Чтобы вернуть к жизни? В другом Небесном Своде, вне этого мира? Заворачивая останки в крошечные клочки папиросной бумаги, я притворялась, будто жалобно плачу. Умереть для насекомых — значило ли уснуть? В саду среди цветов? Чтобы они питались в этом сне, известном как смертный, я выкладывала близ останков пищу: хлебную крошку и крупинку сахара. У врат Катакомб Мумий, где я их хоронила, я поставила оловянного кузнечика, покрашенного в красный цвет. Передние лапки его были выставлены вперед, как оружие наизготовку. Был ли он бессменным стражем Катакомб до дня воскресения насекомых? А насекомые — хранили ли они надежду на мир иной, подобно калеке? В своей унижительной кабале, были они вынуждены мириться с превращением любовного периода в вечность?

Кэнко распахнул рубаху, явив взору свое нагое тело, казалось, состоявшее из одного необъятного живота.

— Для церемонии повязывают широкий кушак из белого полотна — как видишь, много ниже пупка. Тот, кто собирается лишиться себя жизни, оставляет таким образом открытой и незащищенной самую духовную часть своего существа.

Кэнко закрыл глаза. Тремя пальцами левой руки он стал медленно массировать живот.

— В идеале кончать жизнь самоубийством следует под цветущими вишнями, ибо они — символ прекрасного и эфемерного в этом мире.

Он продолжал массаж. Что он делал — укрощал смерть церемонией? Усмирял ее слепую ярость? О его незамутненное благородство вдребезги разбивались самые злобные капризы мироздания?

— Герой должен сосредоточиться на торжественном акте, который ему предстоит совершить. Он ощупывает свой живот, дабы удостовериться, что на алтарь восходит полностью расслабленным. Ни малейшим сокращением мышц не должно выдать себя то место, куда войдет меч. Неспешность, решимость, торжественность.

У врат Катакомб Мумий, рядом с оловянным кузнециком, я воткнула карандаш, заточенным концом вниз. То был Опорный Столп Книги Мертвых. Сама книга была из маленького картонного кубика. На камнях и стелах я выбивала имена первых погребенных насекомых.

Крепко опираясь на колени, Кэнко медленно распрямился. Он взял саблю. Поднял ее, как боевой трофей. Потом правой рукой перехватил клинок там, где он был завернут в ткань. Двумя руками повернул саблю к себе и слегка наклонился к острию, направленному в живот.

— Сталь должна войти сюда. Слева от пупка и чуть выше. Примерно сантиметров на десять. В центр равновесия.

Заточенным клинком сабли Кэнко целил в некую точку в своем чреве. Хотел ли он упорядочить смерть, лишив ее хаотической стороны? Отняв у нее внезапность? Смягчив неизбежные риски славной жизни?

А насекомые — могли ли они без помех прибегать к магии? Имелись ли у них карты дорог потустороннего мира? Полагались ли они на формулы и рецепты, чтобы

странствовать по ним и не сбиться с пути? Существовало ли для них чистилище, как для сестер и калеки? А лимб? Содержались ли в заклинаниях, которые им полагалось читать, угрозы? Мог ли муравьиный лев стать в следующем рождении вошью? Мухой це-це? Кишечным глистом? Клопом-кровососом? Малярийным комаром? Солитером? Бабочкой-огневкой?

Легенда гласила, что муравьи Небесного Свода в предсмертной агонии твердили, как молитву, декларацию невинности, обращенную к Солнцу:

Я предстаю пред тобой, предстаю на суд твой.

Я не оскорблял порочными деяниями рабочих муравьев
и воинов.

Я не порабощал ни муравьев из других муравейников,
ни иных, низших насекомых.

Я не оскорблял кощунством тебя, ибо ты само правосудие.

Я никого не уморил голодом, и закрома мои всегда были
открыты даже рогатому скарабею.

Никто не лил слез по моей вине, и муравьиная царица —
в особенности.

Я не убивал и не давал приказа убивать.

Я не воздавал тебе злом, ибо ты — само правосудие,
за дары твои.

Я был чист, я был шесть раз чист, по количеству моих лапок.

Чистота моя была чистотою яйца над Фэтом.

Для муравьев Фэт был храмом изобилия. Располагался же он посреди навоза.

А Кэнко — отождествлял ли он себя с безрассудством ошеломления?

— Герой опирается на саблю. Мощный толчок — и сталь клинка вспарывает ему живот. На десятисантиметровую глубину входит клинок в его тело в этот миг. Не-

сколько секунд сабля, вонзившаяся в его кишки, остается неподвижной. Боль так сильна, что человеку кажется, будто небо обрушилось на него. Мука эта столь неожиданна, хоть и размышлял он над нею годами, что им овладевает хаос. Он дышит с трудом, невзирая на все усилия, которые прилагает, чтобы совладать с дыханием. От жгучей пытки он охвачен пламенем, и мозг его кипит. Вся решимость его, все мужество, вся сила воли в этот миг под угрозой. Больше всего он боится дрогнуть.

Держа острие сабли на волосок от своего обнаженного живота, Кэнко толковал жертвоприношение. Он говорил, не наклоня головы, не опуская глаз к животу. Он переживал смерть понарошку.

— Он чувствует, как течет кровь по его брюшине, по паху, по ляжкам и коленям. Безмерная боль все нарастает, но он знает, что жертвоприношение только начинается.

А насекомые в Зимнем Саду, завоеватели, первые поселенцы, пришельцы и эмигранты — связывали они понятие Небесного Свода напрямую с погребальными обрядами? Почему сохраняли они тела умерших в одной из ячеек своих жилищ? Династии разных насекомых сменяли друг друга, а это правило оставалось неизменным.

Какой же смысл вкладывали они в Катакомбы Мумий, построенные мною? Почему сам церемониал агонии, смерти и погребения, ракурс рока и почина отличались так разительно своими обрядами?

Кэнко был весь в поту, хоть и белее мела:

— После короткой передышки, когда клинок входит в живот, герою необходимы обе руки. Ими он крепко держит саблю. Он начинает взрезать живот слева направо, и клинок встречает препятствие — кишки. В силу их элас-

тичности резать становится труднее. Приходится нажимать обеими руками изо всех сил. Сталь рассекает пупок и продолжает свой путь еще на десять сантиметров вправо. Так заканчивается первая стадия жертвоприношения.

Первый надгробный памятник, пирамида, была построена из мятных леденцов по причине прочности этого материала. Материал этот именовался субстанцией вечности. Зал, где хранилась капля моей крови на ложе из скорлупки, являл дилемму свет-тьма. Как обосновать иерархию света-тьмы, добра-зла, дня-ночи? Можно ли установить, как сделали это в стародавние времена еретики, категории для разных групп, вещей, сундуков, знамен, зверья, картин? Для разных культов? Для тех, кого Кэнко называл богами? Стекланный купол высился над песками Зимнего Сада, а Могучие Горы — над Котловиной. Но все сущее внизу было подобно сущему наверху. Поэтому материальная структура что лапок голенастого паука, что обломка нефа древнего храма была точным отражением сокровенной структуры первичной субстанции, ее главной тайной, над которой безмолвно приподнимался покров.

Была ли для Кэнко внезапная смерть проклятьем? Актом, чудовищным по своей сути?

— Кишки вываливаются из распоротого живота. Рот героя раскрывается в крике, а дух его пребывает в безмятежности. Огромный разрез исторгает наружу кровь и кишки.

В точности изображая собственное самоубийство, Кэнко правой рукой поднял саблю. С видимым усилием.

— Клинок тяжел от жира, нечистот и крови. Но герой все же поднимает оружие правой рукой. Он должен владеть собой, чтобы не дрогнуть. Вокруг него уже растекается лужа крови. Голова его склоняется.

Небесный Свод, такой, каким он был явлен, — сулил ли он диво дивное? Представлялся ли он воздушно-хрупким? Когда перед сном, лежа на циновке, я созерцала созвездия и обители, дороги и храмы, все системы, построенные мною ценой таких усилий, я боялась, что все вдруг разом рухнет, точно замок из песка, сметенный волной. Почему же все по-прежнему стояло? Внутренняя динамика поддерживала жизнь в Зимнем Саду. Была ли в Небесном Своде суть противопоставлена существованию и энергия необходимости, трансцендентальная энергия — слепой необходимости? Огонь всепоглощающего единства — сумрачному кишению всего столь тщательно спрятанного в сокровенных глубинах? Все живые существа в Зимнем Саду пользовались свободой как даром, полученным в силу самого факта нахождения здесь. Эта чисто духовная ситуация имела практические последствия на всех уровнях, даже в том, что касается поведения. Платиновые рыбки в Котловине, согласно все тому же принципу аналогии, отражали весь Небесный Свод. Они были одновременно эманацией и проявлением его энергии. В этой перспективе ничто не представлялось тривиальным, незначашим, пустым, наивным. Здесь помнили, что в старину обожествлялась облупившаяся штукатурка со стены Зимнего Сада. Некая древняя секта даже утверждала, что если не будет совершено самое незначительное действие, лучи солнца не пронзят утром стеклянную кровлю Сада. То была эпоха, известная под именем Теологического Бреда.

Существовал ли для Кэнко промежуток времени между смертью и концом земного бытия? Склонив голову на левую ключицу, высоко подняв саблю в правой руке, Кэнко замер на несколько мгновений в неподвижности. Глаза его приоткрылись и взглянули на лужу крови, существовавшую лишь в его воображении.

— Миссия героя завершена. Жертвоприношение пошло к концу. Спустя минуту пора будет вмешаться ассистенту.

Кэнко подхватил вторую саблю и выпрямился. Потом попросил меня встать рядом.

— Смотри внимательно. Когда боль достигает пароксизма, помощник второй саблей добивает героя. Он отсекает ему голову, чтобы положить конец и страданию, и жертвоприношению.

Кэнко поднял саблю двумя руками и занес ее над своим правым плечом. Яростным ударом рассек он воздух, словно и вправду отрубил себе голову.

В Небесном Своде я спрашивала себя: «Придет ли однажды всему конец? По прошествии какого отрезка вечности? Обратится ли все когда-нибудь в прах? В самодостаточную пылинку, погруженную в неизменное? Когда остатки стального шарика сделаются неотличимы от останков зеленой гусеницы?»

Убийца подробно описывает, каким образом, попав в расставленную ею ловушку, Рафаэль Сайнц («швейцар») зарезал Луиса Фернандеса Арройо («сторожа»).

Она, однако, умалчивает о том, как сразу же после этого, по данным протокола вскрытия, той же опасной бритвой она зарезала самого Рафаэля Сайнца.

Из полицейского протокола

Когда я пришла в Консерваторию, на часах было десять вечера. В сумке у меня лежала опасная бритва, подарок Пикассо.

Сторож и швейцар как следует приготовились к Бдению. Каждый на свой лад хотел дать волю темным силам, разрушительным стихиям. Они удивились, обнаружив, что их двое. Между ними тотчас установилось напряжение, обусловленное соперничеством.

Что есть насилие? В чем оно выражается? Какое негативное воздействие может оно оказать на выживание вида? Муравьи-воины в Зимнем Саду разили соперников своими мощными челюстями, похожими на кусачки для резки железной проволоки. Ослепленные злобой? Могли они отказаться от борьбы? Мирились ли с вероятностью вымирания своего вида, лишь бы уничтожить соперника? Какое удовлетворение испытывали они, когда, по окончании схватки окидывали взглядом поле боя, усеянное искромсанными тельцами, изломанными лапками, оторванными усиками?

Оба мужчины облачились в чистые сорочки. У сторожа ворот был расстегнут. Швейцар щеголял в галстук,

давившем ему шею. Сторожа были неведомы методы духовной реализации. Он не мыслил себя отдельно от своей плоти:

— Но... Как же это?.. Он... Откуда он знал, что ты придешь ко мне сегодня вечером?

У некоторых видов куклородных мух бывали, как у сторожа, периоды сильнейшего возбуждения. Потому ли, что они желали знать предел своих ресурсов энергии — физической, сексуальной? Хаотичность ли их порывов порождала амбивалентные последствия? Не эти ли порывы завладевали в них ресурсами страсти, обращая ее в деяния?

— Я не знал, что вы с ним назначили свидание в тот же час и в том же месте, что и... мы с тобой. А тебе не приходило в голову, что ты уже ангажирована?

— Прошу тебя, уйди. Нам с ней надо о многом поговорить.

— Мне самому надо потолковать с этой... о важных вещах... которые касаются тебя.

Существует ли агрессивная поведенческая модель? Приобретается ли она с опытом? Частично? Или полностью? Либо дана каждому от рождения?

Кто напишет последнюю страницу жизни сторожа и швейцара? Составляя жизнеописание первой платиновой рыбки, растерзанной другой особью того же вида, я старалась не подменять произвольным толкованием изучение феномена. В ту пору Котловина звалась Озером Сахарной Чешуйницы. Я к тому времени построила водохранилище, которое рухнуло, когда я его наполнила. Потому ли, что я не дала ему имени? Покуда не назовешь вещь, не можешь ею обладать? С тех пор остались только руины над Саванной Милосердия. Легенда преобразила факты: когда я днем возводила стену, ночью она обру-

шивалась сама собой. Был ли в этом символ последствий агрессивного поведения? Витала ли в воздухе злоба, будучи невестребованной?

— Ты же не останешься здесь, в библиотеке Консерватории, в десять часов вечера, с двумя мужчинами... одна? Что ты такое замыслила? Хочешь, чтобы мы на твоих глазах передрались, как петухи? Промашка вышла! Я только уединюсь с тобой, да скажу тебе пару слов... чтобы помочь этому...

— ...Мне снились такие прекрасные сны... Видишь, какой я надел галстук? Свой свадебный... наконец-то... я ведь женат... ты не знала?.. Но с тобой все совсем иначе!

— Оставь эту романтику, тебе не идет. Ты смешон, как пингвин в гостиной. Лучше всего тебе сейчас убраться отсюда. Мне она первому назначила свидание.

— Уйди же ты наконец. Она меня любит. И я влюблен в нее. Слышишь? Оставь же нас одних. Тебе-то что? Ты ведь ее ненавидишь.

— Конечно, ненавижу. От всей души. Потому что эта шлюха компостирует тебе мозги. Я ей не позволю... я все сделаю ради твоего блага. Ты ослеплен и ничего не видишь. Пара слов, что я ей скажу... насчет тебя... лучше тебе их не слышать... Когда я улажу твое дельце, сам расскажу тебе все в подробностях. Так что не жди, уматывай.

В каких же условиях и под каким напряжением возникала агрессивность? Была ли то латентная неуравновешенность, проявляющаяся в аномальных условиях? А как изменялся агрессивный отпор в зависимости от ситуации? Быть может, насекомые считали Электрический Поезд богом войны, требующим в жертву поголовье вида? Поезд дважды в день объезжал Зимний Сад по кругу там, где проходила граница со стенами *extra-muros*, светя мощной

фарой локомотива. Когда он возвращался ко мне, его передок и колеса были в крови, с налипшими останками раздавленных, раздробленных насекомых. Шальное солнце локомотива так пугало их? Или они воображали, что это адская ладья? Полагали, что он развивает такую скорость потому, что образует перед собою пустоту? Кого приносили они в жертву? Кого превращали в мерцающий отблеск, растерзанный судьбой?

Охота за головами, канибализм, членовредительства, снятие скальпов, опустошительные войны, человеческие жертвы, — было ли все это непростыми ответами необъяснимым напряжениям? Влечениям, покорным воспламеняющему голосу плоти?

Сторож и швейцар скрывали свою оторопь за пророчествами.

— Ну ты, потаскушка, ты-то чего сюда явилась? Так в подвале понравилось? Подстилка!

— Не смей называть ее так. Изволь обращаться с ней почтительно. Мне больно, когда ты оскорбляешь ее. Ударь ты меня, мне не будет больнее.

— Надо же, какая невинная пташка! Ты что, сам не видишь, что перед тобой потаскуха из потаскух? С этим ее ангельским личиком, с видом скромницы... Зуб даю, она старше, чем кажется... намного старше. Она, скажу я тебе, заключила, верно, сделку с дьяволом, я такое в одном фильме видел. Такой был молоденький красавчик... а на картине старел. Вот погоди, увидишь настоящий ее портрет, всю любовь у тебя как рукой снимет.

— Если ты сюда явился, чтобы поливать ее грязью, лучше уйди и оставь нас одних.

— Ты не можешь любить такую наглую и бесстыжую девку. Я здесь, чтобы положить этому конец. Хоть лаской, хоть таской. Ты еще не понял, что эта стерва способна с

кем угодно сотворить самое скверное? Ты забыл, как она нас обоих довела до греха? Она же тогда всю ночь будила в нас беса. Вспомни, иной раз я уже больше не мог, но эта девка такое выделявала... вот уж беспардонная сучка... Как вспомню... такое зло берет... Не держи я себя в руках, избил бы ее смертным боем!

— Ты только зря сотрясаешь воздух. Успокойся же наконец.

На Крыше Небесного Свода раскинулась область непокая, тревожная, как ее тропы и пропасти, ее перевалы и разломы, ее впадины, ущелья и вершины, почти касающиеся стеклянного купола небес. Насекомые, избравшие для жизни эти края, были непоседливы, склонны к эмпирическому познанию и падки до осязаемых свершений. Поклонялись ли они молнии, что разрушает... и озаряет?

По убеждению сторожа, швейцар не должен был выпускать на волю свои силы. Он мог заплутать на пыльных дорогах. И увязнуть глубоко.

— Она погубит тебя. Подумай о жене... о детях... о себе... о своей жизни... Ты же непустишь все прахом ради грошовой страстишки. Не вздумаешь втрескаться в бабенку, которая еще покажет тебе, почем фунт лиха.

— Да перестань ты квохтать надо мной, как наседка! Я не маленький. Я тебе сказал и еще раз говорю: уходи, прошу тебя по-хорошему. Сколько, черт подери, можно повторять одно и то же?

— Ну да, я уйду, чтобы ты мог с ней свалиться прямо здесь, на полу.

— Оставь нас в покое, довольно.

— Да как ты мог подумать, старина, что я тебя оставлю? Нет уж, я помогу тебе.

— Если ты и вправду хочешь мне помочь, уйди.

— Помогу, пусть даже против твоей воли, дурья башка.

— Нисколько в твоей помощи не нуждаюсь.

— Я не дам довести тебя до петли.

Я смотрела в глаза сторожа, вглядывалась в борозды морщин на его лбу, изучала форму его ушей и понимала, что все это лишь мимолетные виденья, не дающие представления о человеке в целом. На картинах калеки безмятежные люди, написанные навсегда, образовывали неподвижные лабиринты. Глаза картин были устремлены в неведомую даль, но смотрели пронзительно. Не в них ли воскресали символы концентрических кругов до бесконечности разума? Потаенные места, обители сюрпризов, бесстыдных открытий расползающихся корней-захватчиков? Когда в Небесном Своде я на короткое время хорила свои руки в земле Зимнего Сада, я чувствовала себя несокрушимой. Когда шкив вращал колесо Сферы Закона, приводил ли он в движение доктрины Небесного Свода?

— Нет, ты видишь, что она делает? Она же раздевается! Говорил я тебе, какая это шлюха! Ты только посмотри на нее! Bravo! Давай!.. Ни капельки стыда.

— Ты нагнал на нее страху своим криком, своими нападками... Видишь, к чему ты ее вынуждаешь.

— Никто не просил ее заголяться.

— А в прошлый раз? Надо было видеть, каким петухом ты на нее налетел.

— Так ведь и ты попользовался, забыл?

— Не смотри на нее так, ты не имеешь права.

— Этого еще не хватало! Или я уже не мужчина? И потом, она сама меня возбуждает... ах, сучка, до чего же она аппетитная в чем мать родила...

— Не смей так о ней отзываться.

— Как хочу, так и отзываюсь... ты, что ли, мне запретишь?

Какой лабиринт духовных пермутаций создается насилем? Сколько миллионов биллионов нейронов человеческого мозга порождают поведенческую модель соперничества? Покрывает ли агрессия мышечные, железистые, сенсорные, духовные различия между особями? Неужели и совиная бабочка, и жук-дровосек, рождаясь, попадают в бесконечно запутанный лабиринт? Как учатся они жить и выбирать? Неужели действенность и быстрота неминуемо ведут к агрессии, раздувая пламень и распалая страсти?

— Ты смотришь на нее с вожделением, с похотью. Ты отвратителен!

— А сам-то ты как на нее смотришь?

— Уйди... я останусь с нею наедине... но мы не предадимся пороку... Ты не знаешь, что это такое — любить женщину.

— И знать не хочу.

— Уходи сейчас же. Ты что, не видишь, она же тебя на дух не переносит.

— Много ты понимаешь в бабах. Сказать тебе, почему она разделась сама, как паинька, и просить не пришлось? Да потому что помнит, сучка, наш перепихон в подвале. Помнит и мечтает повторить, так ей понравилось... Еще бы! Два мужика сразу — это же королевский пир. Ничегошеньки ты в бабах не смыслишь: хороший трах — вот что им надо. Ради него они на все готовы! Это я тебе говорю, уж я-то в них знаю толк.

— Я запрещаю тебе к ней прикасаться...

— Да она только и мечтает, чтобы ее завалили, ты, недоумок!

Сторож схватил мои трусики, лежавшие на полу. Какой духовный путь прошло насилие? Обезьяноподобное

существо, жившее на деревьях четыре миллиона лет назад, его потомок, который пятьдесят тысяч лет назад впервые обрел человеческую речь, и наконец тот, кто понял, что интерпретация истины независима от его понимания деятельности разума, — догадывались ли они, что насилие эволюционирует так же, как воля, размер ладони, ум или способ передвижения? Как безмолвный образ, доверивший неисчерпаемую свою мудрость и душе-раздирающую судьбу?

— Понюхай-ка эти трусы! Впору съесть их в собственном соку.

— Оставь их! Это ее.

Сторож куснул мои трусики. Потом дернул так, что ткань разорвалась.

— Ты видишь, что ты наделал, хватит, перестань!

— Да уж, мне бы лучше разодрать их своим концом, она-то этого ждала.

— Ты еще и куражишься! Будь я сильнее... я бы тебе башку размозжил.

Сторож зубами изодрал мои трусики в лохмотья. Потом взял мою сумку, открыл ее и с яростью вывернул. Все содержимое высыпалось на пол. Первой упала бритва Пикассо. Максима, написанная на клочке папиросной бумаги, плавно спланировала.

Бабочка и жук — какие побудительные знаки были у них, когда они в первый раз проявили агрессивность? Какие особые правила, какие причинные принципы были для посвящения в нее даны им от рождения? Какие нормы агрессивности знали они, вылупляясь из личинок?

— Грубая сила — вот все, что у тебя есть, и ты ею пользуешься, чтобы поставить себя хозяином и унижить ее.

— А это что еще такое? Опасная бритва! Прикинь, эта

девка с большим приветом! Одному Богу ведомо, зачем она носит с собой приправу!

— Что хочет, то и носит. Тебе бы понравилось, если бы кто-то рылся в твоих карманах?

— Черт, а острая-то какая!

Сторож вырвал у себя волосок и перерезал его. Потом положил бритву на стол, заваленный журналами.

— У кого ты стibriла эту бритву? У одного из тех, с кем спала? А у меня что стibriшь? Нет, все, не могу больше терпеть! Иди сюда... встань на колени... вот так... Соси, сучка! Я от тебя балдею... Кто тебя научил так отсасывать, вот это сноровка!

Швейцар, бледный, безмолвный, попятился в нерешительности. Смотрел ли он, не видя? Был ли удручен? Вне себя? Вздешен? Заворожен?

Существуют ли общие правила поведения у разных видов? Есть ли агрессивный инстинкт, единый для всех? Какой заряд агрессивности выдерживает отдельная особь? Существуют ли ослабляющие формы агрессивности? А защитные? А разрушительные? Можно ли установить взаимосвязь между агрессивностью и снижением мобильности двигательных органов? Повышает ли агрессивность давление? Расшатывает ли она физиологию? Вызывает ли мозговые кризы? Нарушает ли кровообращение? Есть ли у нее иные, доселе не известные, еще более пагубные побочные действия? Совершаются ли ею подвиги на ощупь в пасти тьмы?

Швейцар продолжал пятиться. Хотел ли он слиться со стеной, войти, вжаться в нее?

— Нет... нет... нет...

— Нет? Почему же? Смотри, как ей нравится... А ты давай, вставь ей сзади... как тогда, в подвале. Глянь, как она раскорячилась! Ясное дело, на коленках ты бы не смог ей засадить... А глазами-то тебя так и просит.

Стоя позади сторожа, швейцар смотрел на нас с ужасом.

В Небесном Своде считалось, что всякое деяние, доброе или злое, совершенное осознанно и обдуманно, возвращается, автоматически и неизбежно, к тому, кто его совершил. Наградой или наказанием, как вибрации сомнений в содроганиях загадки абсолюта.

Я видела, как швейцар схватил лежавшую на столе бритву и шагнул к сторожу. Два шершня были уже связаны за лапки.

— Давно бы так, иди сюда. Трахни ее! Она тебе только спасибо скажет. Можешь даже штаны не снимать. Ну же, засади ей до печенок... и вперед! Кончаем вместе!

Швейцар занес бритву Пикассо и сделал разрез на спине сторожа. На уровне сердца. И сразу же — еще один, за правым ухом.

Самори продолжал собственное расследование преступлений, не ставя в известность полицию.

Из полицейского протокола

Кэнко вручил мне письмо, перевязанное шафранно-желтой ленточкой. И попросил прочесть его вечером, перед сном.

Правда ли, что нетерпение удаляет нас от жизни, как утверждал один еретик? Говорят, что оно живет в одной из трех обителей: в Бесцветном Дворце мозга, в Алом Замке сердца или в Серной Копи, расположенной под пупком. Где же обитало нетерпение Самори?

— Я жду не дождусь, просто умираю. Я уже купил билеты: мы поедем в замок поездом. Как же долго тянется ожидание!

Копошение мушки-кукушки, на первый взгляд хаотичное, — что оно значило? В Небесном Своде порой становилось ясно, что время течет не так быстро, как кажется, потому что время — это мы. Когда я мельком видела, как локомотив Электрического Поезда, запущенный на предельной скорости, мчался за пропастью Кордильер Догматов, миг и вечность — не одно ли они были? Не мчалось ли время со скоростью локомотива? Его упорное стремление длиться и длиться — не удалялось ли оно в непреложную паузу забвения?

Все побуждало Самори быть средоточием безрассудства.

— Что ты скажешь, если я одену тебя в платье из тюля? Но ты мне нравишься и в вечернем платье с вырезом на спине до самого низа и пышными оборками. О, идея: ты наденешь фиолетовое белье с черными кружевами. Нет, я никак не могу решиться. Я, точно невеста, изнываю от нетерпения.

Старшая из сестер, перед тем как причесать калеку, делала ему долгий и неспешный массаж лица. Полулежа в кресле, закрыв глаза, калека горько жаловался:

— Говорят, что мы переживаем кризис, а ведь на самом деле мы в глубоком упадке. Когда «Он» умрет, то немного, что осталось от решимости и воли, рухнет под софитами съемочных групп телевидения; при попустительстве всех реваншистов планеты бездельники и скандалисты явятся сюда и захватят Особняк.

Тем временем младшая сестра, держа на коленях тазик, обихаживала руки калеки, словно заправская маникюрша. Подкатив к креслу столик на колесах, она расположила на нем ножнички, пилочки, лопаточки, ногтечистки, флакон с лавандовой водой, зубную пасту, две зубные щетки, пару полотенец, вату, палочки и махровую рукавичку. Калека страшился адских мук — абсолютно неизбежных.

— Мы уедем на моей старой машине. Им нас не поймать. Мы живем в самом центре зоны турбулентности. Над нашими жизнями нависла угроза.

Управившись с руками калеки, младшая сестра чистила ему зубы. Она делала это так ловко, что ему даже не приходилось поднимать голову с подушки, закрепленной на спинке кресла, и массаж, который тем временем продолжала старшая, не прерывался.

— Особняк готов выдержать осаду, самое главное вы уже уложили в ящики, чемоданы и сундуки... Оставшиеся вещи отправятся доживать свой век в Зимний Сад или напрямик в огонь. Цивилизации умирают, как люди, после агонии упадка.

Все трое жили в самом что ни на есть неустойчивом ритме: в последнюю эпоху Особняка они создали блуждающую цивилизацию, центр тяжести которой перемещался в зависимости от исторических обстоятельств. Спальня, гостиная, кухня, музыкальная комната, столовая и кабинет пережили периоды расцвета поочередно и по-разному. Под конец же телевизионная зала стала средоточием единственной деятельности. Калека жил в симбиозе с этой комнатой, из которой никуда больше не выходил, он проводил дни напролет в пижаме, халате и мягких войлочных туфлях с отворотами и помпонами.

Самори, говоря о Бдениях, распалялся:

— Два новых преступления совершены в Консерватории — на этот раз в библиотеке обнаружили трупы двух зарезанных мужчин. Двойное убийство — и почерк все той же убивицы с ее опасной бритвой. По крайней мере, так считает полиция. Все обстоятельства схожи с предыдущими убийствами. Мне кажется, я смутно догадываюсь, что чувствует убивица, сталкиваясь с дуальностью любовь-смерть.

Незримые пары — милость и власть, деяние и чувство, меланхолия и надежда — изменяли, среди околичностей и тревог, перспективы Небесного Свода.

— Покуда полиция занята двойным убийством в Консерватории, я провел собственное расследование насчет почтальона. Без помех. Я разыскал его бывшую любовницу. Очень решительная девица. Она сказала мне, что почтальон был влюблен в нее до умопомраче-

ния. И что у него случались приступы бреда, когда он воображал себя кем-то другим. Он писал ей письма, по несколько в день. Сколько-то месяцев они прожили вместе у него. После их разрыва он каждый вечер поджидал ее напротив автобусной остановки, когда она выходила с работы. Стало быть, в ту ночь, когда его убили, он, посмотрев издали на бывшую любовницу, по своему обыкновению пошел домой через Лес. Дальше полиции известно лишь то, что он был найден в своей квартире зарезанным и перед смертью испытал оргазм. Лично я представляю себе, как в девять часов вечера он бродил среди деревьев и кустов, ослепший и обезумевший от своего наваждения. Это был человек дотошный до маниакальности, даже в любви. Его любовнице обрыдли его коллекция оловянных солдатиков и его однообразные поцелуи. Она не могла больше выносить проигрывателя, который автоматически включался, как только открывалась дверь его квартиры. Инициативы он не проявлял ни в чем. Все было сведено к рутине. Для нее он сам превратился в заигранную пластинку. Вот с каким человеком наша убивица нос к носу столкнулась в Лесу.

Что есть любовь? Аллегория времени смерти? И ради нее двое исполняют танец живота в центре мироздания? Что есть наслаждение? Знают ли его люди? Испытывают ли? Или это лишь дым, черный от смутных чаяний?

— Убивица и почтальон обозначаются как две противоположности, два существа, до крайности несхожих. Как они могли встретиться — вот вопрос, который меня более всего занимает. Что делала она поздним вечером в лесу? Пришла к нему на свидание? Тогда напрашивается другой вопрос: где они могли познакомиться раньше? Нет, моя гипотеза такова: убивица назначила свидание

кому-то третьему, кто не пришел. Возможно, это был иностранец, не очень внятно изъяснявшийся. Он, допустим, мог говорить о половине девятого утра, а ей показалось, что речь идет о восьми вечера. Такая женщина, как она, может ждать часами, не волнуясь, без нетерпения, без обиды. С нее бы случилось преспокойно улечься на скамью и созерцать звездное небо... или просто мечтать.

У клещей Зимнего Сада главенствовало наслаждение. У термитов — размножение. Наслаждение и размножение — не это ли были две силы Небесного Свода, тайные и грозные? Неверные славе его? Не это ли были инстинктивные образы потерянного рая?

— Почтальон, в расстроенных чувствах, повергнутый, как всегда, в меланхолию лицезрением бывшей любовницы, бредет между туевыми изгородями. Он только что видел ее, она села в автобус и уехала. И вдруг в темноте ему чудится чья-то фигура на каменной скамье посреди Леса. Да, это женское тело. И оно так похоже издали на тело его любовницы! Он подходит... сейчас он обнимет ее... попросит вернуться к нему... Мне кажется, я вижу, как его рука касается талии или груди убивицы... и та просыпается. Какое разочарование!

Какова связь между понятием любви и зримым образом любимого существа? Любовь и запах приводили в действие один и тот же духовный механизм? Представляла ли себе зеленая тля, взбираясь на стебель, цветок которого еще не могла видеть? Как выглядел фотографический снимок понятия цветка в молекулах ее мозга?

— Под конец любовница рассказала мне, как почтальон осуществлял сексуальный акт. Насколько я понял, ей отводилась почти пассивная роль. В акте участвовали только ее руки и рот. Она до сих пор задается вопросом, не было ли ее лоно ему противно. Вне всякого сомнения,

он любил ее, я бы даже сказал, с каким-то болезненным благоговением. И при этом — слушай хорошенько — он требовал, чтобы она стояла на коленях. Как бы молилась на него. А он тем временем, лежа на спине, закрывал лицо подушкой, словно не хотел ее видеть и страстно желал одного — уединиться с ее образом. Я уверен, что от убийцы он потребовал сыграть роль его любовницы. Быть может, даже заставил надеть какое-нибудь из оставшихся у него ее платьев. И наверняка хотел, чтобы она в точности повторила все ее жесты один за другим. Так что, когда убийца одним махом перерезала ему горло, наш почтальон был, как никогда в своей жизни, близок если не к неземному блаженству, то, по крайней мере, к наслаждению. Быть может, он видел тысячи запечатленных в его мозгу фотографических снимков обнаженной возлюбленной.

Была ли фотография — как сорок тысяч лет назад фигуративное искусство — изобретена, чтобы служить архивом? Чтобы запечатлевать статус и положение индивида по отношению к другому или к сообществу? Какое значение имеет количество изображений одного и того же субъекта на снимках или наскальных рисунках? Когда переходит в качество количество срезанных цветов?

А Самори не знал предела в ненасытности:

— Газеты пишут об убитых служащих Консерватории, как о двух пальцах одной руки. Они умерли в одну ночь — но по-разному. Как можно не замечать столь очевидных вещей? Сторож являет собой тупое животное, похотливое, сладострастное, готовое пожрать весь мир. Иное дело швейцар — это мужчина женатый, легко ранимый, безвольный и ничего особенного из себя не представляющий. По натуре, надо полагать, чувствительный и влюбчивый, в ночь убийства он был, вероятно, столь же

робок, сколь решителен его товарищ. Но почему говорят, что обоих зарезала убивица? Швейцар был убит ею. Убийство совершено точно так же, как два предыдущих. А вот сторож был зарезан иначе, чем остальные жертвы. Ему нанесли два неумелых удара бритвой — один в спину, другой за правым ухом. То были два яростных, импульсивных жеста, которые не вяжутся с хладнокровием убивицы. Я думаю, это трепетный швейцар убил своего приятеля. Быть может, когда обнаружил в его лице соперника. Быть может, из страха.

Какое влияние оказал страх на формирование разума? Не сводились ли первые разумные действия к воспоминаниям о неких страхах, испытанных на протяжении достаточно долгого промежутка времени? Страх и разум — связаны ли они напрямую? Страх ли породил первые разумные правила, благодаря которым можно было противостоять первым опасностям два миллиона лет назад? Не совокупность ли решений и новшеств, порожденных страхом, развила в дальнейшем разум? Но не имел ли тот первичный разум последствием возросшее внимание и, стало быть, еще больший страх? И этот более сильный страх — не выковал ли он, в свою очередь, более совершенный разум? Подобный строительной нити, связующей мысли?

— Бесспорно то, что убивица уже была знакома со швейцаром и сторожем и не в первый раз пришла в Консерваторию. Учитывая их несхожие психологии, вполне можно предположить, что швейцар был влюблен в убивицу, а сторожу до безумия хотелось с ней переспать. Назначив свидание одновременно обоим, неугомонному бабнику и робкому влюбленному, утробе и сердцу, она стравливает их лбами и упивается их кровью. Всю жизнь я мечтал посмотреть на такую схватку.

Кэнко рассказывал мне легенду о первой дуэли: первый человек, заставший свою жену с собственным братом, установил первые правила поединка. Любовник должен был взять дубину и ударить ею соперника по голове что есть силы. Затем тот, в свою очередь, наносил удар противнику. И так, один за другим, уже обливаясь кровью, но не теряя достоинства, когда приходил черед быть жертвой, они должны были наносить друг другу удары, пока один не испустит дух. Что в конце концов и случилось.

Как сумели люди освободиться от выбора предков? Из прихоти ли? С какого момента стали они совокупляться с женщинами племени, не принадлежавшими к их роду? Когда перестали копаться в собственных экскрементах? Почему большинство из них тянет на сладкое, точно ос-охотниц?

— У меня такое впечатление, что в руках полиции меньше нитей, чем в моих... к тому же некоторые из них ложны. Я слышал, они задумали расставить ловушку и поймать убийцу «на живца». Мне эта стратегия представляется неадекватной... и мало того — об этом написали в газете! Они составляют фоторобот! Это ничего не даст. Я расспрашивал свидетелей в Баре. Для одних она брюнетка, для других блондинка... или рыжая. Никто толком не знает, высокая она или маленькая, голубые у нее глаза или зеленые. Ну как можно при таком разном составе составить фоторобот?

Когда в Небесном Своде я думала, что объясняю некий умственный феномен, мне становилось ясно, что он хранит свою сокровенную тайну, как будто ритм его отбивался раз за разом до бесконечности.

Я легла на циновку с письмом Кэнко в руке. Каждое созвездие, каждая планета, каждая песчинка, каждая пы-

линка, каждая капля воды, каждый атом, электрон и протон действовали только за себя, словно только с собой были связаны. И однако же Небесный Свод сохранял свою когерентность, упорядоченность, структуру. Каждый элемент знал все... ни о чем?

Я вскрыла конверт и прочла послание Кэнко.

Сегодня утром в Лесу расцвел цветок вереска.

Я созерцал его. Я в него погрузился.

Я забыл о собственном существе.

Я смотрел на него час за часом.

Я в него проник. Какой чудесный ветерок!

Как совершенна жизнь и коротка!

Как ласков лепесток! Какое счастье!

И ты стремись к подобию этого цветка

Следует обратить внимание на приведенную ниже фразу, написанную самой убийцей:

«Убивицу характеризуют как фантазерку. Утверждают, что она утратила всякую связь с реальной жизнью».

Из полицейского протокола

Хотел ли Кэнко, чтобы я его сопровождала?

— Когда будет завершен мой цикл в твоей стране, я вернусь пешком на родину моих предков. Больше половины мира пройду я, подобно странствующему отшельнику. Я проведу в дороге годы. Останавливаясь, я буду общаться с людьми посредством живописного изображения духовности. Эстетическое восприятие я oweю духом познания.

Была ли живопись для Кэнко глоссолалией? Языком огня, о котором толковал Самори? Испытывал ли он недоверие или пылкое влечение к речи?

— Следуя дорогой, я проложу путь.

На что намекал Кэнко? Чем были живописные образы — видением или взглядом? Могли они изобразить матрицу разума? Отразить его суть? Его нагую прозрачность и его покаянный бред?

Для Кэнко дорога была равна пути преобразования. В Зимнем Саду этапы преобразования насекомых были очень различны. Подёнки жили всего лишь несколько часов, после того как три года пребывали в состоянии личинок. Жук-рогач, вылупившись из куколки в конце лета, не выползал на поверхность, а сидел около года в зем-

ле под Плотницким Полем. А черным мухам, если их яички были отложены в Квадрате Нечистот, требовалось меньше десяти дней на прохождение цикла яйцо-личинка-взрослое насекомое.

Самори мечтал о поездке в замок:

— Я слышал, что в замок уже начали съезжаться гости. Дали прислал моему дяде телеграмму. Вот что он пишет:

Алофеоз, иступление, чары. Самые извращенные в мире любовники направляются в замок в самолетах, полных цветной капусты, тормозных башмаков и молитвенных скамеечек. Я принимаю только божественных садомазохистов и кошунственных параноиков. То будет самая бурная и удобоваримая ночь столетия в самой иррациональной и мистической стране Вселенной. Остаюсь с моим суперстуденистым и духовитым почтением,

Божественно ваш.

— Больше всего мне бы хотелось отправиться в замок в обществе двух женщин: с тобой — владычицей и убийцей — рабыней.

Самори мечтал снять сливки познания, Кэнко же размышлял о своем пути:

— Мои предки верили, что все сущее породила одна богиня. Из ее чрева вышли острова и моря, горы и реки, металлы, камни, травы и деревья.

В день, когда из моего лона вытекла первая капля крови, начался генезис Небесного Свода. Мне было тогда тринадцать лет. Кэнко появился два года спустя.

— Последним богиня породила огонь. Появляясь на свет, он обжег ей лоно. Сильная боль вызвала у нее рвоту и различные выделения. Ее экскременты, моча, гной,

пот и рвотные массы обернулись всеми живыми тварями и девятью богами.

Через несколько дней после излияния первой капли крови я извлекла девственную плеву-моего-тела: я сделала это руками-моего-торса и тростью калеки. Но генозис Небесного Свода уже начался. Удаление девственной плевы никак не повлияло на естественный ход развития изначального.

Кэнко порой смотрел на меня так, будто читал послание, запечатленное между моими глазами и затылком.

— Мы — как весь этот мир, плоды неба и земли. Мои предки знали, что из левого глаза богини родилось солнце, из правого глаза луна, а из носа — плодородие.

Ветви, корни, листва дерева — не красноречивее ли они проходящих годов и столетий? Самори повел меня по магазинам. Он делал со мной покупки, но вел себя при этом не как муж. Хотел ли он одеться сам, наряжая меня?

— Страсть к существам моего пола превращает меня в чистейшую абстракцию. Так называемые проблемы общества для меня — лишь конфликты отдельных лиц. До крайних пределов сердца можно добраться благодаря маскарadu. Мы узнаём, кто мы есть, посредством ловкого маневра.

У Самори полнота чувств превращала жест в ритуал, сообщая ему тем самым основательность и подлинность. Все его повадки, особенно те, что казались продиктованными условностями, исходили от единого целого, как свет Небесного Свода проникал сквозь стеклянную кровлю. Моды коренились в нем, как свет заливал Зимний Сад и охватывал все его пространства, не зная ни верхов, ни низов.

— Теперь вот кое-кто упорно твердит, что убивице покровительствует дьявол. Я даже читал, что, мол, она

сама — демон в человеческом обличье. Как видишь, магия нынче в моде и кругом сплошное шарлатанство.

Служила ли магия для попыток манипулировать природой? А магические ритуалы ткали покров иллюзий? Были пульсом неизреченной тайны? Высшей вымышленной действительностью?

— Убийцу характеризуют как фантазерку. Утверждают, что она утратила всякую связь с реальной жизнью.

Потому ли сообщала магия силу импульса, что было дано предугадать ложность ее содержания?

— Я продал бы душу, будь убийца дьяволом. Есть и другой порядок идей: один моралист написал, что убийца сама себя обрекает уничтожить, потому что сама разъедена скверной до самой глубины своей души. От нее осталась одна лишь видимость, утверждает он. Представляешь себе?.. Ведь если в это поверить... мы имеем дело с чистой абстракцией... но она убивает.

Применим ли ко всем один и тот же свод моральных правил? Может ли единый этический кодекс породить сложные проблемы? Определяется ли моральная ценность наказаниями и наградами? Знанием абстрактных формул для поддержания договорного порядка? Мечтал ли Самори о вечности, чтобы обуздать мимолетность?

— Убийца изголодалась по жертвам. Ты понимаешь, почему она так притягивает меня? Она их пожирает.

А муравьи-воины — испытывали они экзистенциальную радость, убивая?

— Но почему же она не убивала раньше? Что разбудило в ней эту жажду убийства?

Калека давал мне коробки, полные наград, протоколов, медалей, договоров, форменной одежды и официальных документов. Я сама располагала их в Созвездии Сун-

дуков Небесного Свода. Когда он говорил со мной, старшая сестра переставала читать ему вслух газету, но младшая продолжала ногтями давить прыщи на его лице.

— Как только «Он» умрет, мы уедем. Ты можешь и должна ехать с нами. Мы готовы. Именно поэтому весь Особняк завален чемоданами. Так надо. Нас не застанут врасплох.

Коробки, которые давал мне калека, вращались вокруг Небесного Свода с его созвездиями, даже если с виду казались такими же неподвижными, как луна и звезды.

— Мы переживаем худший из упадков... самый смутный, но и самый роковой. В замедленном темпе наблюдаем мы перемену участи. Мир становится с ног на голову. Придется договариваться с варварами, если они нагрянут неожиданно... а потом мы все равно убежим.

Сестры готовили ему лекарства. Калека глотал их, не поднимая головы. Две женщины зорко следили за ним с полотенцами наготове, чтобы утереть капли с его губ.

— Мы достигли высочайшей вершины цивилизации... и увидели перед собой разверстую пропасть. С тех пор, как начался этот упадок, парализовавший наши решения, всякое движение остановилось. Даже отступить назад мы не можем. Мы личинки, но стали ими не для того, чтобы преобразиться и воскреснуть к новой жизни, — мы умрем и обречем на гибель все, что было нами построено в эпоху торжествующего энтузиазма. В эру созидания, когда в наших жилах текла алая кровь.

Кровь насекомых в Зимнем Саду была не алой, но бесцветной, разве что чуть зеленоватой или желтоватой. Не по этой ли причине муравьи на протяжении сотен миллионов лет не знали упадка? Не потому ли были упразднены перемены, и не их ли отсутствие обеспечило стабильность вида? Бессознательная жизнь, подобная

огромной капле воды, — таила ли она в себе постыдную иллюзию неведения чистого листа судьбы?

Калека утратил свою плотную незыблемость:

— Я тебе советую завести друзей среди тех, кто будет играть первую скрипку. Готовься потихоньку адаптироваться к миру варваров. Ты должна стать своей в этой орде, если хочешь выжить.

Кузнечики вели двойную жизнь: обычно в Зимнем Саду они были мирными насекомыми и жили в одиночку. Но они могли в одночасье превратиться в воинов и примкнуть к армии на марше *extra-muros*. Менялось их поведение, и физический облик тоже. Одиночками они были безобидны, уравновешенны, умеренны в пище, а питались травой Зимнего Сада. Цвет их не отличался от цвета окружающей среды: они были зеленые с коричневыми пятнышками. Превратившись же в солдат, становились светло-шафранными в черную крапинку. Лапки их делались ловчее и сильнее, аппетит многократно возрастал. Они летали стаями и в возбуждении не знали ни покоя, ни отдыха; за день они поглощали количество пищи, в несколько раз превышавшее их собственный вес. Они выказывали тем больше злобности, чем многочисленнее была армия, в ряды которой они вступали. Это могла быть лавина из миллиардов кузнечиков, уничтожавшая тысячи тонн растительности в день. Всякая ли особь любого вида, всякий ли член любого человеческого сообщества, примыкая к племени, меняет облик? Вес? Прибавляет ли в агрессивности? Вправду ли стадное чувство умножает физические силы? Инстинкт единения заменяет инстинкт самосохранения? Вытесняет мышление? Знание?

Калека, в помрачении своем, множил воспоминания:

— Мой отец, твой прадед, говорил, что если бы ему предложили выбирать между хлебом и луковицей и не

было бы возможности иметь и то, и другое, он выбрал бы хлеб. И добавлял, что любит жизнь и не меньше любит справедливость, но если придется выбирать, предпочтет жизнь.

В Небесном Своде для мирных кузнечиков-одиночек я построила Сад Саранчи.

А сердце его находилось в Святилище Зеркала. Я разрушала его каждые три года и отстраивала заново, точь-в-точь такое же, из веточек и сучков. В центральном зале я установила круглое зеркальце. Кузнечики, желавшие стать воинами, могли смотреться в него. Быть может, они размышляли о непостоянстве? Об эфемерном и вечном?

Кэнко хотел быть похороненным под тысячелетними деревьями.

— Настанет день, когда мой прах станет частью природы.

Он хотел вечно пребывать там, где царили бы безмолвие, равновесие и строгая простота.

— Это будет целью моей жизни.

Кэнко описал мне маршрут, которым намеревался следовать в своих странствиях отшельника. Потом сосредотчился и погрузился в молчание. Медитировал ли он, закрыв глаза? Наконец он взял кисточку и летящим почерком написал:

Я знаю, как летает бабочка.

Я знаю, как плавают медузы.

Я знаю, как ест всякая Божья тварь.

Но

Душа всего этого знать не может. Она в воздухе.

Она в дуновении ветра.

И ты — ты как душа.

Более полную информацию о замке см. в рапорте
полиции нравов № 879 YV.

Из полицейского протокола

Я ехала в замок с Самори. В поезде меня охватило странное чувство, будто тело мое отделилось от меня. Мои уши слышали, мои глаза видели, купе перемещалось в пространстве... но все это было от меня так далеко!

В вагоне-ресторане, когда я подносила пищу ко рту, мне казалось, будто кто-то, на значительном расстоянии от меня, открывал мой рот и жевал.

Самори ссутулился под гнетом накопленного знания:

— Убийнице кажется, будто тело тяготит ее. Мне знакомо это чувство. Никому не приходило в голову, что она, быть может, ищет смерти. Но почему же тогда она не пытается наложить на себя руки?

Я созерцала пейзаж в раме окна и думала о том, что, как и все, я могу однажды перестать жить. Была ли то мысль, лишённая интереса, поджидавшая минуту ликования с часами в руке?

— Если бы я, по крайней мере, точно знал, сколько убийнице лет! У меня предчувствие, что ей не двадцать, как все говорят, а восемнадцать. Но даже если это так, что она делала, с тех пор как достигла зрелости? Убивала ли иным образом? Ведь совершенно очевидно, что убий-

ства связаны с этим биологическим феноменом. Общеизвестно, что большинство женщин при наступлении первых менструаций переживают эмоциональный шок. Такой же испытал и я, когда обнаружил свои склонности. Не этот ли шок толкнул ее к убийству? Но тогда она должна была начать свои преступления в тринадцать-четырнадцать лет. Можно, правда, предположить, что в этом возрасте она приняла решение... но начала лишь три года спустя! Это несуразно, но все реакции, связанные с первыми месячными, абсурдны. Если бы у меня впервые началась менструация, я навсегда сохранил бы первые капли крови, я носил бы их в ладанке.

Иногда Кэнко в Лесу одолевал неудержимый смех. Казалось, он был так счастлив, что хохотал во все горло. Сквозь смех он говорил:

— Я чувствую духовный подъем — говорят, нечто подобное испытывают мистики.

Машина, каменная скамья, башмак, игрушка — что угодно могло вызвать эти взрывы смеха.

— Я смеюсь над собственной суетностью. Эта статуя медведя так же нелепа, как моя снисходительность к себе. Вся, от пьедестала до макушки, она несет образ нашего самодовольства. Долото, резец, зубило долбили и точили камень миллиметр за миллиметром не затем, чтобы придать ему форму медведя или человека, но чтобы приблизить его к образам наших любимых вымышленных героев.

Кэнко так смеялся, что иногда незнакомый прохожий спрашивал его:

— Над чем это вы потешаетесь? Ваша подруга так серьезна!

А Кэнко хохотал еще пуще, и все его сто пятьдесят килограммов тряслись и колыхались, а глаза плакали от

счастья. Необходимость дать логический ответ, заключенный в границы разумного, в такой момент и в таком месте, только сильнее веселила его.

Когда я уходила на вокзал, калека простился со мной в Особняке.

— Ты правильно сделала, что предупредила нас, меня и «тетушек». В прошлый раз, три года назад, когда ты ушла, никому ничего не сказав, мы уже хотели обратиться в полицию. Тебе было пятнадцать лет... и ты где-то пропадала целую неделю.

Мастерская Пикассо была полна чистых холстов, тюбиков с красками, кистей и шпателей. В ней пахло скипидаром. Рядом с мольбертом день и ночь работал телевизор — был ли то сальный глаз Усадьбы? А какую функцию взял на себя телевизор в Особняке? Был ли он центром притяжения? Связующим звеном? Общим интересом? Безрадостным светом на обочине забвения?

Бег времени удручал калеку:

— Ты видишь, что твои «тетушки» постоянно паку-ют чемоданы и сундуки. Кажется, будто Особняк захватила служба перевозки: ничто не останется на своем месте. Но во времена упадка изменить можно только убеждения... когда уже ничего не спасти, даже мебель. Мне порой хочется, не объявляя голодовки, перестать есть.

Когда насекомые в Зимнем Саду собирались меняться — то есть мутировать, — они переставали есть. От поста, натошак, внутреннее давление, брюшное и кровяное, вызывало разрыв оболочки. Когда та лопалась, они избавлялись от нее мощными спазмами, сжимаясь и разжимаясь. Вырвавшись на свободу, они раздувались, насыщаясь водой и воздухом. Делали они это для того, чтобы новая оболочка, в первое время эластичная, затвердев, не могла воспрепятствовать дальнейшему росту.

Насекомые в Зимнем Саду — чувствовали они себя ответственными за каждую свою молекулу и каждую молекулу Небесного Свода?

Калеку внезапно осенял пророческий дар:

— Грядущее будет нам гипсом или доспехами, столь тесными, что станет невозможно дышать.

В вагоне-ресторане сквозь прозрачное стекло я могла рассмотреть содержавшуюся в стакане жидкость: движение поезда разбивало ее на бесчисленное множество лопающихся пузырьков и крошечных волн.

А Самори не замечал, каким простым и сложным одновременно мог быть стакан воды.

— Среди комментаторов в газетах преобладает мнение, что она убивает всех, с кем спит. Я это прекрасно понимаю. После ночи сексуального упоения, после унижений, слез и грязи — кто же не захочет уничтожить свидетеля своего падения? Напрашивается предположение, что убийца впервые в своей жизни оказалась с мужчиной, на полу в Кинозале, между двумя последними рядами кресел. А мужчиной этим был старый похотливый землевладелец.

Капля воды упала на скатерть и осталась на ней, округлая, полная. Я слилась с нею, чуждая убегающему пейзажу. Я не отличала внутренность капли от внешнего мира. На границах воплощения слышала я голос Самори, не слушая его. Я не ощущала течения времени, ни в саморазрушении секунд, ни в вечном бытии мгновения. Наслаждался ли этим последним ощущением Кэнко, когда воздавал дань столетней секвойе? Кэнко завершал медитацию, хлопнув в ладоши:

— Состояние вдохновенного бессилия снизошло на меня... я не ведал, где я... где мир... где моя душа...

Сияющий счастьем Кэнко походил на только что вылупившееся из личинки насекомое.

— Когда я произношу слова, которые служат мне, чтобы говорить с тобой, тысячи мыслей проносятся у меня в мозгу. Я вижу себя на каждом отрезке обратного пути в мою родную страну. Я — курица и яйцо, изображение и картина, огонь и дым, вода и влага.

Сидя в купе, неподвижная, но в движении, я, казалось, летела между окном и горизонтом, над локомотивом и облаками, среди созвездий и пустоты. Это было ощущение, которого я не могла ни передать, ни записать. Поспешность, переложенная в пылкое желание.

Самори исчерпывал соображения и углублялся в догадки:

— Один несомненный факт установлен официальным следствием: убивица не лишилась девственности в ту первую ночь, когда она пошла в Кинозал и совершила убийство. Экспертиза доказала, что у жертвы перед смертью произошла эякуляция. Я, со своей стороны, скажу, что это случилось в тот момент, когда ей был нанесен смертельный удар. Эксперты обнаружили бы следы крови убивицы... если бы они были. Это значит, что убивица не была непорочна. Но, с другой стороны, можно ли представить, что до той ночи какой-то мужчина дефлорировал ее, и это не повлекло автоматически его собственную смерть? Убивица лишила себя девственности сама, без посторонней помощи... я в этом убежден! Своими руками, своими собственными пальцами, быть может, воспользовавшись также каким-нибудь предметом домашнего обихода, значимым для нее, вроде ножки стула, на котором сживал или сидит поныне зачавший ее паскудник.

Колеса поезда своим неутомимым и размеренным перестуком выводили меня на такие уровни постижения, каких я и вообразить себе не могла. Казалось ли все те-

перь реальнее, чем прежде? И в то же время было ли все, что видели мои глаза, образами сублимации?

Мысль Самори текла прихотливо:

— Для убивицы животворный взрыв эякуляции — союзник смерти.

Здесь, в вагоне-ресторане испарения земли, отголоски мира играли мною, будто я была перышком в центре урагана.

— Жизнь и смерть. Добро и зло. Убивица и жертва.

В Небесном Своде для разрешения конфликтов между насекомыми или распрей, возникших вследствие расколов, Ассамблея Воплощения постановила принять следующий девиз:

«Существует лишь единство. Его узнают под разными именами, что есть свидетельство мудрости».

Самори рядился в тайны своих дедушек:

— Род человеческий разочаровал убивицу... Быть может, она предпочитает животных. Мир для нее гнусен, низок, безобразен... но ничто не может замарать ее. Я даже думаю, что она остается безучастной к своим убийствам. Я переживаю их с большим интересом, чем она.

Я смотрела на убегающий пейзаж за окном, зная, что не смогу его остановить. Когда я видела что-то прекрасное с Кэнко, мне хотелось, чтобы оно осталось таким навек: счастье — не предполагает ли оно бегство вне времени?

Кэнко подарил мне песочные часы, которые я поставила в Зимнем Саду в Пустыне Пространства.

— Вне времени есть только вечность.

На верхнем конусе часов я в подтверждение его слов записала максимум:

«Время не существует, образ его — зародыш вечности».

Земляной червь заполз на верхушку песочных часов. Возмечтал ли он быть изображением проходящего времени? Возжелал ли символизировать настоящее?

Самори не ведал бесплодных порывов:

— Убивица познала и зарезала троих мужчин. С каждым она перекинулась словом, но ни с одним не говорила по-настоящему. Я убежден, что она изучала их, точно бабочек, наколотых на булавки. Наблюдала, как я сам порой наблюдаю людей. Я чувствую лишь любопытство к механизмам возбуждения. Полиция установила, что в первый раз, в Кинозале, она и незнакомец лежали на полу. Он был под ней. Естественно. Он лег между рядами кресел, чтобы принять ее в объятия. Я представляю себе, как убивица смотрела сверху вниз на эту массу возбужденной плоти в слабом свете экрана, препарируя ее еще до убийства.

Небесный Свод был полон тайн, пролить свет на которые не могли ни соборы, ни ассамблеи, ни расколы. Я ощущала их, как волны наслаждения, которые захлестывали меня и уносили вне времени. Даже разуму было с ними не справиться. Они влекли меня, как пунктир загадок, не подверженных затмению.

— Для меня женщина — это влага, отверстия, рыхлая мякоть, пустоты. Но видеть в этих параметрах убивицу мне невыносимо. Некоторые говорят, что она — дьявол, быть может, они знают, что слово Сатана означает тень, то есть искажение, начертанное солнцем. Зато вполне вероятным представляется, что она ведет себя, подобно змею в раю. Безмятежно улыбается. Слушает так, будто сулит бесконечные улады с древа добра и зла.

Во избежание смут были обнаружены узловые точки энергии, дремавшей в недрах Небесного Свода. Они оставались доступны всем: долгоножкам, тараканам, макси-

мам, древоточцам, кордильерам. Не важно было, например, существовала ли Котловина в Зимнем Саду еще в детстве калеки, как гласила легенда, или она была сооружена в не столь давние годы, чтобы сыграть свою роль. Узловые точки в хитросплетении жизни служили ориентирами в запутанном клубке диковинного настоящего.

Самори в горячности своей дробился на тысячу согбенных фигур.

— Какой могла быть любовная, чувственная жизнь богатого землевладельца, имеющего семерых взрослых детей, до того как он столкнулся нос к носу с убийцей? Он верил в демона, в ужасное чудовище, в дракона-при-вратника — и вдруг оказался лицом к лицу с красивой женщиной, бесстрашной и нежной. Предсказуемым исходом битвы было его поражение. Но я бы, вместо того чтобы убить его в конце, дав ему испытать наслаждение сполна, укусил его, овладев, в затылок. Видишь, все это возбуждает меня, не могу не признать. Нижняя часть позвоночника зовется по-латыни «сакрум» — это говорит о сакральном таинстве, сокрытом в анальной области. Какую небесную музыку эта клоака — хранительница секретов — держит в плену?

Насекомые Зимнего Сада издавали звуки, вызываемые трением их усиков, крылышек и лапок. Слыша их, можно было угадать путь, что привел от этих шорохов к сегодняшним буквам. За тысячи лет до Небесного Свода первые женщины, пытавшиеся издавать значимые звуки, связывали их с движениями губ и дыханием. Боясь или желая что-то уничтожить, они произносили «м». Закрывали рот и выдыхали воздух носом, заставляя вибрировать голосовые связки. Они подражали сверчкам. Жгучее желание сказать лепило звук, чтобы угаснуть на грани фразы.

Самори расцвечивал свою речь подробностями:

— Убивница искушает своею пьянящей музыкой. Безмятежность! На самом же деле это ее искра, которая воспламеняет, точно огненный язык. Чтобы представить себе это, надо вообразить жужжание пчелки-ангела или свист змеи. Жертвы, чтобы послушать столь чарующую мелодию, широко раскрывали не только уши, но и все другие отверстия и поры своей кожи. Почтальон, верно, забыл даже неотступное воспоминание о бывшей любовнице. Он выдал себя в тот момент, когда поверил, что ступил, соединившись с убивицей, на путь Блаженства.

Музыка смогла осуществить, если верить легенде, духовное единение Небесного Свода. Когда ночами я пела, лежа на циновке, у моего голоса, казалось, отрастали крылья. Они рисовали в воздухе музыкальные спирали, улетавшие в бесконечность. Красота мелодии зависела от участия моего тела, моего дыхания и моих чувств. Пение было вставным знаком звука на Острове Гармонии.

А для Самори — ткань жизни распадалась на нити, сулившие грозу?

— Жертва безразлична убивице. Та пользуется ею как флейтой... хочет знать, как звучит, а потом разбивает на куски.

Когда мы сошли с поезда, Самори нанял машину, чтобы добраться до замка.

— Дали назначил встречу извращенным любовникам. Это его слова. Порок, мечта, экстаз, сказал и не раз повторял он, — это способы достичь миров с радикально иным статусом.

В Храме Замысла было предложено осуществлять размножение без похоти, что возможно благодаря насекомым, которые будут рождаться без травм. Подумывали

о создании полигамии духа, скрепленной незримыми договорами и соглашениями. Глубокий ров, всегда наполненный водой, изолировал Храм от остального Небесного Свода. Согласно легенде, за стенами Храма жили лишь химеры, иллюзии, заблуждения и ошибки.

Полиция нравов направила в Барселону на это празднество двух инспекторов, которые представили о нем рапорт в надлежащей форме.

Из полицейского протокола

Накануне праздника Дали принял нас, меня и Самори, у себя в замке. Стены его гостиной были увешаны картинами.

В Зимнем Саду сверчки-верблюдики создавали определенного сорта музыку; белые мушки в брачный период исполняли различные танцы, муравьи-убийцы выбивали барабанную дробь на брюшках своих рабынь-букашек, с восторгом ожидая появления их крошечных экскрементов. Каковы же были пределы артистических порывов у насекомых Небесного Свода? Сдались ли они, покорные тому, чего не ведали?

Самори, хоть он и подготовил все заранее, в присутствии Дали как будто смешался. Стало ли ему стыдно? Страшно?

— На самом деле... Она не моя рабыня.

Дали округлил глаза. Руки его взлетели. Он изобразил фейерверк гнева.

— Как вы могли, сударь, употребить в нашей переписке библейское слово «рабыня»?.. Однако же я должен признать, что хитрости, плутовство и ложь импонируют мне своим сакральным характером.

Самори поглядывал на него украдкой. В ошеломлении?

Наблюдая за колониями насекомых в Зимнем Саду, я заметила, что у плохо приспособленной особи альтруизм падает на глазах. Тяготела ли она так бесплодно к собственной гибели?

— Я попрошу вас, Барышня, показать мне, как вы мастурбируете этого господина в интимной близости.

Самори удержал меня за руки и сказал Дали:

— Знаете... Дали... я... я целомудрен!

Дали в восхищении поднял руки к потолку, словно хотел воззвать к люстре.

— Великолепно! На такой антиматериалистической оргии, как та, что боги позволят нам устроить завтра вечером, нам настоятельно необходима столь возбуждающая фигура — Целомудренный Мужчина. Вы сыграете свою роль среди извращенцев.

Мы пообедали с Дали в ресторане. Все это время он сохранял то же состояние обостренного напряжения.

Излучаемая им энергия поражала больше своим постоянством, нежели интенсивностью. Ни на миг он не давал себе передышки, не искал убежища в спокойствии. На сколько же часов был рассчитан его запас динамизма? Циклы активности-покоя у насекомых Зимнего Сада были регулярны. Большинство особей проявляли активность лишь в утренние и дневные часы и замирали под вечер до следующего утра. Иные же, например, ночные бабочки и тараканы, наоборот, пробуждались среди ночи, а к рассвету прятались в свои гнезда. Ни у кого из них фаза активности не продолжалась более десяти часов.

— В наш отупляющий век все полагают, будто гений, вроде меня, или Барышня, вроде вас, ничем не отличаются от простых смертных. Когда же они возьмут в толк, что

мы перевариваем пищу и разумеем, пускаем ветры и мыслим иным манером, неповторимым и незыблемым? И так же неповторимы и незыблемы наши ногти, наша моча, наш пот. Коренным образом отличны от ногтей, мочи и пота всего остального человечества. Я полагаю, Барышня, что вы веруете.

От моего имени попытался ответить Самори.

— Мой первый учитель научил меня богохульствовать. Хула, говорил он, есть драгоценнейшая жемчужина языка нашего. Он повторял мне тысячу раз, что религия хороша для женщин. Вот почему я истово верую, о чем свидетельствуют мои усы, вздымающиеся к небу, дабы начертать вертикальный мистицизм. Проникнитесь ненавистью, Барышня, к длинным свисающим усам, они унылы, они ужасны, они зигфридичны, полны соплей и тумана. Моего дионисийского сверхчеловека сменила гениальная сверхженщина — в честь моей боготворимой супруги.

Дали не обуздывал своих страстей. Он не давал им угаснуть, тщательно избегая распыления. Он держал их за самые корни. Мушки-попрыгунчики и клещи-бурильщики тоже казались подвижными и неумными в Зимнем Саду. Люди, сидевшие за ближайшими к нам столиками, во все глаза смотрели на Дали. Раздражение и злоба были ошутимее, чем любопытство или веселье. Некоторые позволяли себе замечания вслух. Были слышны слова: паяц, ничтожество, торгаш, негодяй, бездарь, толстосум, каналья. Дали, похоже, все понимал и оставался равнодушен.

— Не героизм руководит мною в столкновении с враждебным миром, но убежденность, что моя жизнь есть произведение искусства.

Когда Дали сказал, что идет со мной в свою мастерскую, чтобы сделать с меня эскиз, Самори, кажется,

взглянул на меня растерянno. Какие мозговые расстройства вызывали у него волнение? Какие автоматизмы сознания приводили к муке? Овладевала ли она им как томление, вырождааясь в опасные отклонения и тягостный разор?

Вытянувшись на диване в мастерской Дали, я лежала неподвижно. Это было помещение с голыми стенами и двумя высокими окнами. Огромный холст, поставленный на два мольберта, делил комнату пополам. За ним Дали, невидимый мне, рисовал. То и дело голова его высывалась из-за холста справа, чтобы посмотреть на меня. Купаясь в солнечном свете, я слышала скрежет угля, такой яростный, словно рисовали острием кинжала.

— Дорогая Барышня, я попросил бы вас полностью раздеться. Ваше нагое тело доставит мне незамедлительное удовольствие. Вы сами сможете оценить его по количеству слюны, что выступит в уголках моих губ. Сочетание и объединение двух параноических и экстатических удовольствий — писать и созерцать вас обнаженной — вызовет у меня обильное слюнотечение.

Я раздевалась, закрыв глаза, и чувствовала себя в Небесном Своде на моей циновке. Моя природная спонтанность — казалась ли она импульсом, придававшим силу моей мысли? Материализовалась ли она? Взмывала и падала, обуреваемая сильнейшей жаждой покровительства? Победоносная в своей хрупкости, проявившейся так внезапно? Внутри моего тела все было взаимосвязано, органы с органами, легкие с глазами, почки с носом, селезенка со ртом, печень с ушами. Я могла вбирать в себя дыхание Небесного Свода, поглощая его ртом и легкими, и возвращать струями света из моих глаз.

Дали тараторил без умолку в незримом вихре:

— Кукареку! С этим пронзительным кукареканьем, что вы слышали, я выпускаю наружу мои эмоции. Я не устаю благодарить Всевышнего за то, что он не создал меня восприимчивым к этому замшелому продукту кастрирующего материализма — современному искусству! Мои эротические заботы направлены на разрушение утопий. У геометров и создателей утопий никогда не встает. А я, кстати, ощущаю неудобство от сильнейшей эрекции.

Где помещались основы знания, в наружных ли органах — во рту, ушах, носу, глазах? А внутренние органы служили тому, чтобы утвердить и охранить существование Небесного Свода? Без них и платиновые рыбки погибли бы в Котловине, и солнечные пауки лежали бы неподвижно в своих паутинах, пока не умерли?

А Дали — расточал ли он свой апогей?

— Я поставил перед собой задачу самым тщательным образом нарисовать один за другим все волоски на вашем лобке, дабы поддержать оглуляющее и зажигающее возбуждение моей ублаженной плоти. Ощущаете ли вы духовно мой уголь, когда я рисую на холсте внешнее отверстие шейки вашей матки?

Я возлежала в пустоте и как будто находилась в центре мироздания. Кто даровал цвета бесчисленным тварям в Зимнем Саду? Какие вихри? Какие стихии, рассеивающие нюансы, тона, гаммы, оттенки, многоцветье?

— Эскиз вашего, моя прелестная Барышня, нагого тела достигнет вершин благодати, если вам будет угодно мне помочь конвульсивными и спазматическими касаниями. Я советую вам воспользоваться вашей наготой и тем фактом, что я взираю на вас с гнуснейшей похотью, и помастурбировать. Делайте это тыльной стороной среднего пальца вашей... правой руки. Мне бы хотелось, чтобы ваше лицо, благодаря этому трению, выражением уподоби-

лось лицу отшельника, который после недельного поста позволил себе съесть кузнечика. Воспроизведите мимику мистика, употребившего в пищу высшее существо.

Было ли змеиным мушкам ведомо Добро и Зло? Или же лишь с осторожностью действовали они, сталкиваясь с непростой действительностью? Было ли искусство жить для них лишь техникой сердца, дабы не утратить жизненного принципа? Не выражали они того, что знали? Не знали того, что желали выразить? Искали на ощупь? Уравнивали свои тревоги бесплодною скорбью?

— Когда Барышня мастурбирует, она славит таинство ушения.

Какой смысл могла я вложить в нагромождение слов Дали?

— Лишь сверхженщина на высшей точке своей воли возносится к небесам. Оргазм, вызванный ее духовной мощью, отвечает простейшим законам физики. Продолжайте же мастурбировать, Барышня.

Я старалась не думать ни о чем, однако мысль моя текла самостоятельным потоком, следуя привычными путями анализа, с их затейливыми поворотами и извивами, достойными лабиринта. Она текла через горы и доли, через города и веси, через воспоминания и сожаления.

— А знаете ли вы, дорогая Барышня, что делаю я, притаившись за холстом, покуда вы ласкаете себя?.. Вы не можете видеть меня за этой ширмой!.. И не догадываетесь? Мы с вами переживаем такие наполненные минуты... Я тоже возношусь, моя сущностно и славно восставшая плоть поднимает меня к небесам. Я ощущаю себя, как никогда, женщиной.

Кэнко говорил, что писать и рисовать — одно и то же. Начертанная максима была для него выражением живописным и поэтическим одновременно. Когда пре-

красной своей каллиграфией писал он мне послания, отождествлял ли он себя не только с содержанием, но и с формой? Пропускал ли каждую черточку каждой буквы сквозь сито своего сердца? Превращалось ли написанное слово в ответ этого сердца? В дивное и лучезарное равновесие, примиряющее цвет, линию, жест, пыл и лад, твердость и славу? Он вибрировал в такт своему дыханию и наблюдал ритм собственной жизни. Перед тем как я села в поезд, Кэнко написал мне:

Ты увидишь новые горы,
новые доли, новые
реки, новые красоты.
Умей видеть в них
суть, и тогда ты сможешь
постичь их умом и
оценить взором.

На протяжении многих месяцев Кэнко хотел нарисовать секвойю в Лесу. Он думал об этом подле нее, думал в тишине своей мастерской, в шуме улиц и проспектов. Но ему никак не удавалось уловить ее суть:

— Вчера вечером я медитировал. И в тот миг, когда зажигал свою лампадку, понял. Я постиг наконец секвойю. Я не смогу ее нарисовать, если не пройду путь от секвойи до той же секвойи, живущей в моем разуме. Дерево открывает свою суть моим глазам, глаза — сердцу, сердце — кисти.

Каллиграфию для Кэнко вдохновлял динамизм природы. Для того ли он вычерчивал знаки, чтобы слиться с нею воедино? Замечал ли Кэнко нескончаемые извивы, неминуемо точные в чудесной своей четкости?

— Каллиграфия — это не просто выстраивание в ряд букв или символов. Она динамична. Но это еще и приклю-

чение, это танец, у каждого слова свой особый ритм, каждая строчка подчинена своей хореографии.

Когда Кэнко писал максимум, чувствовал ли он мироздание в себе? Он набрасывал ее одним росчерком. Не спеша, но без колебаний и без поправок. Состояние блаженства, мысль и фраза — неужели так тесно они были связаны? Как модель, сердце и рука? Как максима и бумага? Когда он писал свою собственную каллиграфию, он был как никогда спокоен. Забывал ли он, что творил? Замыкался ли в этот миг в себе? Хотел ли Кэнко, благодаря ей, открыть мне свою сокровенную суть?

— Природа идет мне навстречу.

Неужели Кэнко не чувствовал дистанции между объектом и субъектом? Упразднял связь пространства и времени?

— Я возвращаюсь к девственной земле.

Погружался ли он в мироздание, чтобы определить неопределимое? Кэнко ничего не предписывал и не давал определений. Высшая тайна жизни — был ли это для него покой в центре мироздания? Бесконечность, катящая свои грозди в восхищении?

Голос Дали вырвал меня из воспоминаний и вновь вернул на диван:

— Вы и я — мы с вами создаем событие, из ряда вон выходящее. Вот доказательство, что я достиг вершины моего гения. Разделенные непорочной ширмой картины, девственной плевой холста, мы с вами, тем не менее, сплелись в страстных объятиях... на расстоянии пяти метров друг от друга. Не разорвав эту плеву и не запятнав ее. Мы соединились и вкусили сладострастия в одиноком наслаждении. Я тоже, дорогая моя Барышня, я тоже мастурбирую. Как всякий раз, совершая нечто несравненное и гениальное, я слышу сейчас хриплый и чуть приглушен-

ный голос моего друга, убиенного поэта, который подбадривает меня с небес:

«Уррра!»

Продолжая средним пальцем руки делать то, чего хотел Дали, я вспомнила, что в Зимнем Саду обезглавленная оса могла чиститься лапками еще много часов.

Что касается «пленницы» (Долорес Арнаис) и «маркиза» (Хосе Луис Г. Креспо), полицией составлено несколько подробных рапортов об их разносторонней деятельности на сегодняшний день.

Из полицейского протокола

Пока я из окна нашей комнаты созерцала горизонт, безмолвно плотный в пространстве, в пропорциях, в бесстрастии, в немоте, Самори красил мне ногти на ногах в пастельно-лиловый цвет.

— Я слушал радио, пока ты была с Дали. В библиотеке Консерватории нашли фразу, написанную убийцей на половинке листа папиросной бумаги: «Как распознать форму всех следов?» Написано очень необычно. По словам полиции, это какая-то странная каллиграфия, но прочесть можно. Во всех газетах напечатали фотографию этого клочка бумаги. Какая жалость, что пресса приходит в замок с таким опозданием! Как я хотел бы перечесть, прикоснуться, почувствовать ее почерк!

Чем лечь поздно, Самори хотел приготовить одежду, помады и духи, обувь и кремы к завтрашнему празднику.

Он разложил костюмы на кровати и рассматривал их, не в силах решиться.

— Завтра утром я сам тебя вымою, удалю волосы на теле, нарисую тебе брови и обрею голову. Я все сделаю сам... как если бы это... была ты.

Если верить легенде, еще до смерти садовника в Зимнем Саду случилось наводнение. Все насекомые утонули. Только несколько пар смогли спастись в черепаховом панцире. Когда вода отступила, от этих пар вновь пошла жизнь в Зимнем Саду. С тех пор в Небесном Своде искореняли невежество и жажду обладания тем, чего не дано, смиренно вращаясь в орбите над осязаемой действительностью.

— Эксперт-графолог утверждает, что почерк убийцы выдает мощный темперамент, живой ум и неугасающий боевой дух. Я согласен со всем, кроме боевого духа. Для меня она — человек стойкий, но не борец. Как и следовало ожидать, этот шарлатан — всего лишь подголосок, он уверяет, что, расшифровывая знаки каждой фразы, испытывал неловкость и даже ужас, ибо видел представление убийцы о порядке и морали. Ха-ха! Разумеется, он подтверждает, что этой женщине не занимать ни стойкости, ни интуиции. Пункт, по которому мы с ним больше всего расходимся, — это возраст: он считает, что почерк принадлежит женщине лет около тридцати, я же не дал бы ей больше восемнадцати. Он полагает, что она энергична, смела и инициативна, о чем свидетельствует, по его мнению, синтез восточной и западной каллиграфии в ее почерке.

Солнце за считанные минуты как будто спустилось от моей головы к моим коленям. Сидя на балкончике, я чувствовала, как лучи горизонтально слетают ко мне, прежде чем исчезнуть. Все казалось проявлением этого полыханья: возбужденный щебет птиц, суета Самори за моей спиной, стук упавшего камня, журчанье воды в ручье. Медитировала ли я о лучах солнца? Был ли этот красный луч моей медитацией? Думал ли он за меня? Я ощущала озарение — внезапное, новое, несказанное — замкнутого и

лучезарного мира. Свет омывал меня, проникал в меня, исходил из меня. Ничто не менялось? Или все уже изменилось? Не было вовсе бессознательного? Только взаимозамена субъектов? Вечное повторение судьбы, отмеченной случаем?

— Говорят, полиция ищет убивицу в институтах восточных языков... из-за каллиграфии. Смешно. Можно ли представить себе убивицу в аудитории, прилежно изучающей языки? Вероятнее другое: у нее могли быть отношения с иностранцем, который путем взаимопроникновения передал ей искусство письма. Таких, надо полагать, не слишком много. Это серьезная ниточка, благодаря которой можно было бы выйти на след убивицы.

Солнечный луч уже почти исчез. Ничто на свете не длится дольше вдоха, все обновляется ежеминутно. Не в состоянии сосредоточиться, я думала о моем теле, о теле Кэнко, о земле, воде, ветре, огне, о круге небытия и круге познания... А потом не думала больше ни о чем. Я сохраняла ясность ума и воздерживалась от размышлений о чем-либо внешнем или внутреннем. Круговое полыханье обрамляло закат и сжимало его в кольцо огня.

В нашу комнату вошел Маркиз.

— Если я не приду к ней этой ночью, она сойдет с ума. Не знаю даже, доживет ли до утра. Вот уже три дня она не знает, где я. Я держу ее внизу... крепко связанной... я хочу, чтобы заточение стало для нее адом. Пойдемте со мной. Будьте моими провожатыми.

В эту ночь мне приснился иной мир, в котором все было как в нашем, только наоборот. Когда над этим миром всходило солнце, над тем оно садилось, день был ночью, лето зимой, реки текли к истокам, горы стали долинами, любовь ненавистью, доброта злобой. Я держала путь через пространство перевернутого мироздания, в

экстазе, уверенная, что направляюсь к центру Вселенной. Осененная вдохновением, я летела, я возвращалась в закат; в счастливой ли уверенности? Столь отмеренному времени подходили только упрямые факты.

Мы стали спускаться в подземелье. Маркиз, казалось, был зачарован рутиной.

— В тот вечер, когда я впервые узнал ее, она шепнула мне на ухо: «Делайте со мной все, что хотите. Я — ваша собственность». Я всегда мечтал иметь рабыню, как у древних римлян, на привязи, в полном моем распоряжении, непременно с веревкой, связывающей шею и лодыжки, я видел в детстве такую картинку в энциклопедии. «Я стану вашей рабыней, если вы пожелаете». «Я буду ждать вас день и ночь, на цепи, в грязи». Она сама предложила мне весь этот план. Я велел ей повторить вслух то, что она шептала мне на ухо... чтобы все услышали. Когда она это сделала, меня словно пронзило электрическим током. Один из сотрапезников возмутился и сказал ей, что стыдно так обнажаться на людях. «Я не желаю, чтобы вы вовлекали меня в свои патологические извращения». Она же, нимало не смутившись, ответила ему, что любит меня, что может быть счастлива, лишь будучи моей вещью, моей игрушкой, моим жертвенным животным... что это любовь. Она так возбудила меня, что мы даже не успели дойти до кровати.

Что за отношения покрывали сетью своих ответвлений то, что звалось любовью? Для Кэнко союз любовника и возлюбленной осуществлялся на двух уровнях, один из которых был внешним и чувственным, другой — внутренним и духовным. Песнь любви была гимном всему и вся. Поэтому любовник с возлюбленной, когда они сплетались в объятии, взывали к небу, к солнцу, к жизни, к кедрам, к полету чайки, к инею. Все мироздание связывали

они с любовью. Ничему не отдавая предпочтения и ничего не исключая, они объединяли природу благодаря любовному познанию. Влекла ли за собой для Кэнко любовь к кому-то в отдельности точно такую же любовь ко всем сущим? Смотрел ли он на любимое существо как на образец души, призванной любить? Любовный диалог был для него священным танцем, ведомым вновь обретенной гармонией. Прощаясь со мной перед поездом, Кэнко медитировал о фазах этой хореографии:

— Когда двое разлучаются на время, влюбленный страдает. Он стремится к любимому с еще большим пылом. Любовник лелеет мысль оплакать драму разлуки... он тоскует без любви, питающей его.

Был ли для Маркиза разум одинок? Без малейшей надежды? Молчал ли он в тумане о своей обиде ночи и дни?

— Первую ночь мы с ней провели в нашей спальне. Наутро я отвел ее в заброшенную конюшню в подземелье замка. Температура там всегда повышенная из-за близости отопительного котла. Я запер ее в последнем стойле. Ключ от него есть только у меня. Я раздел ее и привязал за шею, точно кобылу. Она целовала мне руки, пока я это делал. День я провел у себя в кабинете, в крайнем возбуждении, думая о ней. Я знал, что она ждет меня, что один лишь я могу отпереть замок и осчастливить ее. Я представлял, как она лежит на соломе, нагая. С каждой проходящей минутой она все нетерпеливее ждет моего возвращения... все сильнее возбуждаясь... как и я. Когда ночью я отпер замок... никогда я не испытывал такого накала страсти... даже представить себе не мог, чтобы двое обнимались с таким неутолимым желанием.

Однажды вечером Кэнко пошел со мной в розарий.

— Ночь смотрит глазами солнц. Звезды украшают крылья ночи.

Чем была для Кэнко ночь? Бессонницей, что ласково лепит угольно-черные веки?

— Ночь обнимает нас своей безмерностью.

Познавал ли Кэнко ее гармонию, ее ритм?

— Ночь рвет мои узы и дарит свободу.

Ощущал ли он тоску по незримому? Верил ли, что нет путешествия лучше того, что мы совершаем внутри самих себя? Ночь, смерть не внушали ему ни малейшего страха. Для Кэнко не было грани между жизнью и смертью, между светом и тьмой. Любил ли он и зримое, и незримое?

— Покуда длится ночь, все — Узы, любовь, обмен тайнами, полнота жизни.

Когда мы спустились в подземелье, Маркиз попросил нас с Самори не шуметь, пока мы будем смотреть на Пленницу через оконце в двери. Он посадил ее на цепь и надел железный ошейник. Она лежала на соломе с открытыми глазами. Мы молча взирали на нее; она выглядела молодой и красивой.

— Я здесь! За дверью... со мной двое друзей. Они хотели нас увидеть... Они сейчас смотрят на вас, как будто в зверинце.

— Подойдите ко мне, прошу вас... Сколько времени прошло с тех пор, как вы приходили в последний раз?

— Уже три дня... А сейчас вы ублажите меня в их присутствии. Я хочу показать им, как сумел вас укротить.

— Идите же ко мне... Как несказанно томительно... ждать без надежды!... Я не спала ни минуты, все ждала, когда же наконец услышу ваш голос.

— Вам очень хочется, не так ли?

— Иногда я кричала. Никто не отзывался. Мне казалось, я тону в пучине одиночества.

— Вы могли бы перестать любить меня?

— Сжальтесь!

— Нет.

— Когда терпишь такую муку... в последнем пароксизме боли... мне кажется, будто я погружаюсь в себя.

— Мысль о том, что вы мучились, более того — плакали, возбуждает меня.

Маркиз говорил с ней через дверь. Быть может, он не решался открыть замок? Какие выводы можно было сделать из поведения Пленницы? Какие элементы ее интуиции или наследственности заставили ее приспособиться к обстоятельствам? Требовало ли это особой физической силы? Стратегии, стимулирующей парадоксальные формы альтруизма? Было ли сравнимо с мотивациями букашки-рабыни у муравья-резчика? Неужели субъективное удовольствие, которое дает положение поработанного, превосходило боль от пыток, претерпеваемых ею от муравья?

— Я ничего не хочу, только вас... я познаю великое счастье — любить до безумия.

— Значит, вы еще недостаточно страдали.

— Я заслужила от вас любую кару. Я не вправе роптать.

В Эпоху Вероятности еретики в Небесном Своде утверждали, что наука имеет значение духовного порядка. На одной ассамблее было даже заявлено, что субъективная истина противостоит объективной лжи и что совершенство недостижимо в реальном мире. Согласно этой доктрине познание достигается не разумом, но преклонением; неистовый пыл фанатизма уносит жизни как ураган, не давая ни облегчения, ни покоя.

Пленница и Маркиз сплелись в объятии, как два жука-носорога. Потом они соединились, лихорадочно ерзая, точно две личинки в подобии мышиного хвоста. Казалось,

они были накрыты незримым полотном. Вместе они издавали звуки, схожие с пением термитов-фараонов. А затем, по отдельности, она застрекотала обыкновенной цикадой, а он загудел июньским шмелем. Временами они замирали, как бы выжидая, словно две металлические ящерицы. Они скользили сверху вниз, точно огненные рыбки, колыхаясь от движений бедер. Их тела покрылись грязью, как у гусениц-единорогов. С их губ капала слюна. Не так ли плюют друг на друга эмбриональные слизни? Не так ли пилят лапками конусоголовые кузнечики? Время от времени один из них присвистывал — который? — будто кобра.

Все это время Самори рассеянno поглядывал на меня. Я поняла, что он придумывает для меня новый грим.

Эти позы, которые одну за другой принимали Маркиз и Пленница, — могли они способствовать аскезе? Пробуждению силы? Служил ли этим двоим голос просто аккомпанементом, без всякого значения? Вспомогательным средством для высвобождения латентной энергии? Расширялась ли их приемлющая способность? Вскоре они задвигались в другом ритме. Судорожном, прерывистом. Пытались ли они таким образом обойти препятствия на пути к цели? Вздыхалось ли незримо вязкое желание над сбитым тактом? Над попраным достоинством?

Пленница и Маркиз выписывали фигуры, напоминавшие бесконечное множество действий, естественных и вынужденных. Они казались двумя новорожденными с еще не окрепшими костями, двумя хищниками без когтей и зубов, двумя ядовитыми насекомыми, выпустившими весь свой яд, двумя нежными младенцами, двумя немощными стариками.

В Зимнем Саду была учреждена география страдания, и начертанные на земле иероглифы уподоблялись духовным эмблемам. Был ли символ за каждой болью?

Кэнко не принимал разделения души и тела. Для него душа была лишь одухотворяющим принципом. Не двойственность, но единство.

— Тело — не тюрьма души и не орудие трансгрессии. Оно священно... Из него исходит мироздание и в нем отражается... оно непосредственно и спонтанно причастно к его сути.

По этой ли причине Кэнко уважал тело, чужое и свое?

Пленница и Маркиз, точно два одурманенных сверчка, точно два мотылька-дьявола с оторванными крылышками, дергались все конвульсивнее. Показывая мне вечную сущность, из которой состояло мое тело, но я не хотела этого знать? Вулканы и массивы абсолютной вечности, бессмысленной, иррациональной?

Очевидно, Самори был полностью в курсе нашего расследования.

Из полицейского протокола

Проснувшись утром в день праздника, я стала рассматривать мое тело, лежащее на кровати. Когда я поднялась, мой позвоночник принял вертикальное положение, вновь обретя свою обычную гибкость. Подле него два моих легких осознанно задышали. Живот втянулся, словно покров эмбриона. Кровь заструилась по венам, оросила мозг, железы, органы. Почему мое тело заключало для меня неизъяснимые тайны? Почему я не хотела познать их моими подспудно раздробленными клетками? Была ли каждая молекула уже моим телом? Мое тело — искажением? В огромной универсальной субстанции?

Был ли Небесный Свод вечен? Содержался ли ответ на это в моем позвоночнике? Лежала ли стезя моей жизни под подошвами моих ног?

Вечером приплыли на яхте какие-то люди. Дали вышел им навстречу:

— Милостивые государи, праздник начнется через час. Звезды благоприятствуют нам. Сегодня утром, в половине двенадцатого, я совершил продолжительное омоложение в море, трепещущем, точно оливковая роща. Закрыв глаза, я представлял себе, будто плаваю в слезах,

смешанных с ртутью. Вчера мне приснилось море, покрытое мазками акварели всех цветов. Я прожил полной жизнью каждый миг этого утра. А нынче ночью нас ждет нуклеиновый триумф дионисо-сатанинского празднества, которое мы разделим с вами к вящей славе Господней.

Над обширным сводчатым подвалом замка возвышались прозрачные стены бассейна, устроенного посреди большого зала. Гости купались. Когда они плыли под водой, я видела их сквозь пластиковую переборку подземелья, голых, как головастики. Что напоминало это зрелище — сложную динамику амфибий? Совершенство крошечного и безупречного существа, спасшегося из канувшей в пучину пустоты?

— Я должен сообщить вам, милостивые государи, что мы с этой Барышней совершили вчера после обеда кибернетический сексуальный акт. Мы воплотили в жизнь один из моих мегаломаниакальных снов.

Из большого подвала замка ходы вели в несколько подземных камер. В каждой из них были брошены прямо на пол три-четыре соломенных тюфяка.

— Мы соединились, как это делалось в галантной любви, чисто и бесплотно, ибо находились в пяти метрах друг от друга, в моей мастерской. Нуклеиновая кислота наших одновременных оргазмов, благодаря расстоянию, на котором они были достигнуты, превратилась в дыхание архангелов.

Из башни спустился дебелый старик с длинными седыми патлами, обрамлявшими лысую макушку. В правой руке он нес длинный хлыст, а в левой держал концы нескольких цепей. Он вошел, прямой и властный, похожий на большую зеленую муху. Цепи оканчивались пятью кольцами, в которые была закована шея смуглого юноши, высокого и прекрасно сложенного. Он шел босиком, оде-

тый в одни только темно-синие плавки, очень узенькие и обтягивающие. Голова его была опущена. Приказам того, кто его вел, он повиновался тотчас. Возможно ли перешагнуть из неосуществимого желания в постыдное разочарование? Сгущается ли тьма в своей первозданной непроницаемости?

— Милостивые государи, праздник начнется ровно в полночь. Прошу вас, располагайтесь. Когда вам потребуется обратиться ко мне, напоминаю, звать меня надо Божественным.

В укрепленные ворота входили пары. Стража замка загораживала путь толпе не приглашенных. Слышалась брань, гиканье, крики.

Калека говорил, что скоро все переменится, и разбушевавшиеся орды сметут века цивилизации.

— Этот упадок, который мы переживаем ныне, был заложен в самой природе наших былых побед. Вот так, внезапно, открыли мы глаза и увидели себя в окружении орд. Наши нравы, наша мораль и правила поведения уже уничтожены. Им осталось подчистить то небольшое, что уцелело от нашей сути. Но до меня они не доберутся, нет!

Самори в конце концов представился Дали моим рабом. Маркиз вел на цепи Пленницу — обнаженная, на четвереньках, она поспешала рядом с ним, словно охотничья собака. Замок буквально кипел от возбуждения... похоронного? Почему мне казалось, будто я окружена смертью? Почему одного облачка, одной птицы, одного голоса достаточно, чтобы уравновесить границы небес?

Парализованный старикашка в кресле на колесах проехал через подъемный мост под улюлюканье толпы за воротами. Он был покрашен весь, начиная с лысины, — пестро, кричаще и по-женски. Тело его было окутано покрывалом из лилового тюля. Кресло катил подросток,

словно вынырнувший из кратера вулкана: его нагое тело казалось покрытым коркой застывшей лавы.

Когда я хоронила насекомых в Небесном Своде, смрад был вестью смерти, как запах нарда, далеко его опережающий. Словно пламя вспыхивало от моих глаз, когда я созерцала труп.

С утра Самори вновь переживал Бдения, удаляя волосы с моего тела к празднику:

— Полиция получила новые улики, сделав анализ чернил и папиросной бумаги с максимой, что была найдена в Консерватории. Убивца писала фиолетовой тушью... Это довольно необычно. Оказывается, такая тушь продается только в семи магазинах. Сейчас допрашивают всех их служащих. Наконец хоть что-то серьезное. Продавец или продавщица могли запомнить красивую девушку, покупавшую фиолетовую тушь. А представь, что это происходит не первый год. Допустим, она — постоянная покупательница... а что, это более чем вероятно. В таком случае полиция выйдет на квартал, в котором она живет. А если квартал установлен... круг поисков начнет сужаться.

В Зимнем Саду я давала крошку хлеба заблудившейся ухвертке, чинила капельками клея панцири колорадских жуков и спасала кузнечиков, упавших в Котловину. Как взвесить страдания насекомых и мечты людей, можно ли для этого воспользоваться весами, что качнутся от крылышка карликовой букашки? Дыхание скорби — было ли оно ветром перистого облачка-звезды над нашей действительностью?

Самори следовал загадочными извивами своих поисков:

— Они обнаружили застрявший между спинными позвонками сторожа кусочек стали. Установлено, что это

обломок бритвы убивицы. Это подтверждает мою гипотезу, что сторож был зарезан не убивицей, а швейцаром и удар нанесен со всей силы. Убивица перерезает глотки где-то даже ласково... без малейшей ярости, без нажима. Эксперты утверждают, что бритва старой модели, в продаже таких больше нет. Более того, в ту пору, когда ею пользовались, купить такую можно было только за границей. Как же она могла попасть ей в руки? Убивица не ворует — чего нет, того нет. Мелкая кража — такому понятию нет места в ее ментальности. Тогда кто же ей дал сей странный предмет? Вряд ли кто-то из ее родных... Вообще-то я представляю ее одинокой, но, возможно, у нее есть отец или дед, самый обыкновенный, как все отцы и деды, то есть не способный сделать подобный подарок дочери или внучке. Вероятнее всего будет предположение, что она ездила за границу. Там она познакомилась с неким оригиналом, который и подарил ей опасную бритву. Человек пожилой, который пользовался ею долго... некто любознательный, дерзкий, своеобразный, нестандартно мыслящий... То есть — артист. Писатель или поэт, а может, еще лучше, скульптор или художник, знающий цену вещам. Скорее всего, этот человек, посвятивший себя пластическим искусствам, который по возрасту мог бы быть ее дедом или прадедом, и преподнес ей в подарок необычный предмет, для него прекрасный, очень личный и полный воспоминаний. Он хотел поразить ее, сделать неожиданный и незабываемый жест, который запечатлелся бы в ее памяти, — и вот он подарил ей свою опасную бритву, которой пользовался, когда был молод. Быть может он хотел сам себя потешить, встряхнуться.

Воздвигает ли тело лишь ширму, порождение нашептывающей надежды? Время — разлучает ли оно, чтобы удалять, и удаляет, чтобы соединять?

— Короче, на данный момент, благодаря новым уликам и моему расследованию, я знаю наверняка целый ряд фактов: убийца ездила за границу, она была знакома с человеком, посвятившим себя пластическим искусствам, художником или скульптором. Этот артист, оригинал или провокатор, — тот самый пожилой человек, что подарил ей опасную бритву, которой сам пользовался в молодости. Я знаю также, что убийца красива, окружена ореолом кротости и безмятежности, и ничто не может нарушить ее покой; у нее сейчас есть друг-иностранец, который пишет восточной каллиграфией. Скоро, благодаря фиолетовой туши, я узнаю, в каком квартале она живет. Я накрою ее прямо в ее логове. Представляешь, какое волнение я испытаю, когда увижу убийцу, как тебя сейчас. Моя сестра-близнец, более того — мой двойник!

Бассейн замка, полный голых тел и стоячей воды, — был ли то образ водной стихии, враждебной и дикой?

Дали был одет и не купался.

— Мы — путь, мы — правда жизни... мы обречены на муки плоти... Через двадцать девять минут начнется праздник... мы устремимся, милостивые государи, к животному оргазму пенджабических рамапитеков.

Дали запечатлел на моем лбу поцелуй и взял меня правой рукой под левый локоть.

— Какой-то порнографический демон послал мне эту Барышню. Будь я девственником, я получил бы этот дар от архангела, а будь я матерью Будды — от слона.

Вода в бассейне кишела миазмами. Она не символизировала ни полноту жизни, ни подвижную текучесть мысли, ни плодородие.

— Еще несколько минут, милостивые государи. Я приготовил вам кибернетические догмы, полные досто-

верного знания о вечной жизни. В это оставшееся время представьте себе, что я пишу моими сальными кистями ваши тестикулы и срамные губы.

В Зимнем Саду вода символизировала жизнь. Маленькие ручейки были моделью неспешного течения подсознательной мысли. Вода орошала Сады Альтруизма, питала корни растений, утоляла жажду насекомых, несла соломинки. Каждая капля была театром микроскопической жизни, с тысячами существ, которых не могли видеть глаза-моего-тела. Она объединяла в своей сфере осязаемую влагу и густую тайну точной вечности.

Люди за дозорным путем и рвами были не так разгневаны, как толпившиеся у ворот и сторожевой башни. Быть может, некоторые исполняли гимн? Была ли то своеобразная форма участия в церемонии? Компенсировала ли пропетая печаль отсутствие?

Незадолго до начала праздника общее самозабвение начало овладевать гостями. Было ли то следствие сексуальной близости? Приглашало ли оно к дальнейшим действиям? К тем, которые влечет за собой идентификация нашей личности? Дали более всего желал увидеть в подземельях замка цепочку сменяющих друг друга свадеб, столь же эфемерных, сколь и ритуальных:

— Один древний историк рассказывает, что некий король заставлял дочерей однажды в жизни продавать свое тело. Сегодня, милостивые государи, мы все будем королевскими дочками.

Обещало ли обезличенное удовольствие умчать за грань познания?

Увидев меня с обритой головой, перед самым поездом, Кэнко поднял глаза и долго смотрел в небо.

— То, что другие презирают, я боготворю. То, что черно, становится белым, белое же — черным.

Для Кэнко наше поведение истолковывалось как факты судьбы. Поэтому оно отражалось в небесах под ропот суматошного случая.

Из бассейна в замке вытекала тонкая струйка воды, а нагие тела между тем продолжали плавать. Маленький ручеек своим неспешным, мерным, направленным движением приглашал меня к медитации.

Будь Кэнко эпосом, он повествовал бы о жизни первых женщин среди прирученных и диких зверей. Будь он книгой посвящения, он описывал бы женщин, превращавших свою кровь в идеи, исполненные смысла. Будь он учебником истории, он рассказывал бы о преобразовании энергии в звезды. Будь он философским трактатом, он растолковывал бы, организуя и направляя, эволюцию разума с ее взлетами и падениями. Будь он научной книгой, он анализировал бы светлые зоны и темные тропы самоотдачи. Будь он романом, героиня — из прихоти или по воле рока — спустилась бы в обитель, где слепнут от избытка света. Будь он поэмой, он прошел бы по семи мостам, где с него сорвали бы украшения и наделили даром передавать переполняющую его благодать.

Сила — крылась ли она, незримая, в его мечтах?

Мы получили приказ не препятствовать ночным занятиям, описанным убийцей. Тем не менее, и в этом случае мы не снимали наружного наблюдения.

Из полицейского протокола

— Милостивые государи, да начнется праздник. Единственное, непреложное и эмблематическое правило требует, чтобы никто не отказывал в самоотречении своих ягодиц или лона всякому, кто этого захочет. В наши отверстия без дверей разрешается входить без стука. Такова наша ночная участь: вибрировать, трепетать и наслаждаться. Мы будем жеребцами подле кобыл и кобылами подле жеребцов в брачной поре, мы будем жеребцами в заточении с жеребцами же, и кобылами с кобылами, обуреваемыми бешенством матки.

Гости расселись на ярусах маленького амфитеатра. Сцена представляла собой подмости, застланные ковром.

— Мы поддадимся нечеловеческому искушению и утолим его самым скотским или самым утонченным образом. Мы отринем социальное основание уважения к ближнему и почтения к дальнему. Лишь компас наслаждения будет нам указывать путь. Мы погрязнем во всех низостях и пороках, дабы достичь исступления, противоположного природе человеческой. Единственное, что заслуженно и закономерно подобает нашим проклятым натурам, — это грязь. А для начала — интермедия!

Две нагие женщины на сцене ласкали друг друга кнутами. Или хлестали? Или притворялись, будто хлещут друг дружку? Дали смотрел на происходящее, сидя на краю помоста. Потом он велел им вставить себе кнутовища.

Иные человеческие эпизоды сменяли друг друга с лихорадочной алчностью. Самори же за два часа до начала праздника сменил нетерпение на безропотность:

— Есть такая легенда о куртизанке, которая плакала дни напролет, так что насквозь промочила свое платье. Она хотела стать любимой наложницей Принца. Когда же наконец она добилась своего, поселилась в дворцовых покоех и отведала самых изысканных блюд, то спросила себя, не плакала ли она во сне и не поняла ли, проснувшись, что жизнь есть сон.

Когда две женщины на сцене поцеловались, гости замка не смогли скрыть свое разочарование. А Дали — не нацелился ли он раздвоенным своим языком в промежность одной из них?

Самори же был поглощен своим смятением:

— Ты знаешь, как нетерпеливо я ожидал этого праздника и как тщательно готовил тебя к нему... Но из этой затеи ничего не выйдет. Самые ненасытные аппетиты, самые, по выражению Дали, извращенные вкусы не суть таинство, ибо они — лишь симптомы болезни, дурноты, порчи, бессилия. И все же я по-прежнему ощущаю возбуждение, как если бы надеялся достичь плодовитости. Есть такие племена, где колдун сношается со своим сыном, чтобы земля родила. Это напоминает мне одну женскую модель поведения, по всей вероятности, утопическую, но я от нее без ума. Когда женщина любит нежно без наслаждения, а наслаждается со злобой.

Дали попросил гостей во всех подробностях поведать со сцены о своих пороках, о порнографических снах и

вкратце изобразить на подмостках свои отношения с партнером:

— Мы будем соглядателями наших собственных бесчинств.

Иногда в Небесном своде я созерцала пыль, пляшущую в солнечном луче. Пылинка не больше атома окружала меня, покрывала, обволакивала, продолжала меня и совершенствовала. То был всего лишь промелькнувший луч... луч сияющий, неповторимый, бесконечный, пустой, как небытие, и его ошеломляющие отсветы.

Пленница и Маркиз со сцены маленького театра рассказали уже известную мне сказку. Когда Пленница повторяла длинный перечень своих унижений, публика слушала с интересом. Маркиз попросил всех бранить ее, бить и плевать ей в лицо. Паралитик, отвесив ей затрепщину, захотел снова услышать, что она чувствовала связанная, в стойле, одна, и по какой причине пошла на это. Ей запретили плакать. Маркиз заявил, что выжжет ей свое клеймо на правой ягодице каленым железом, загодя положенным в камин. Пленница призналась, что до смерти боится огня. Однако же она твердо сказала, что выдержит эту муку ради него, чтобы он получил все удовольствие, какого хотел. Маркиз потребовал, чтобы, пока он будет ее клеймить, она, стоя на коленях, взяла в рот его член. Неужели боль и унижение Пленницы были таковы, что она достигла последней степени бесчувствия? Могла ли она перенестись по другую сторону видимого? Утратила ли сама себя, свое тело, свое имя? И не зависела больше от вещественного? Ее растерзанное тело, ее разложившиеся плоть и кровь уже неслись сквозь хриплую бесконечность мрака?

Прислонясь к стене, я любовалась на борзую. Она спала у камина, всему чуждая — как и я! Я дала отдых

глазам, ушам, рту, носу. Мое бездыханное тело вздымалось сухим деревцем, мертвым прахом. Мой дух летел среди облаков, — в корзине воздушного шара? на крыльшках птичек-колибри? — словно хотел домчаться до столетней секвойи в лесу.

Запах паленого и крик Пленницы разбудили меня. Опустился ли Маркиз? Унизилась ли Пленница? Мог ли духовный ужас заморозить? Возносились ли нежность, отвернувшись от наслаждения? Воспарив на облаке и на воспоминании, скрывала ли она отсутствие?

Гости, разгоряченные унижением, полезли друг на друга. Естественный ход благоразумия был приостановлен. Надеялись ли они отразить таким образом черную реверберацию ненавистной им природы?

Самори, преображенный внезапным жаром, попросил меня привязать его к столику в нише угловой башни. Его призывно раскрытые губы вместе с головой свесились налево, беззащитные ягодички вздымались справа. Он пылко желал, чтобы любой из гостей мог овладеть им, схватив грубой хваткой. Ему нравилось валяться забытой посудиною на столе в этом темном углу. Я стянула его запястья, лодыжки и шею одной веревкой и завязала глаза черной тряпицей, как он просил.

Когда платиновые рыбки возбужденно суетились в котловине, молекулы воды, казалось, приходили в иступление. Был ли это крошечный хаос? Пародия на бунт? Какая рыбка побуждала к смуте? Мыслимое ли дело, что в эти мгновения маленькая рыбка мечтала породить боль и смерть?

Мечтала ли она увидеть всех новобрачных связанными по двое и брошенными в пучину океана — чтобы такой была их свадебная церемония? Желала ли быть единственной свидетельницей их агонии под водой? Вы-

сечь искру, необходимую для того, чтобы жертвоприношение задушило судьбу?

Праздник шел своим чередом в подземельях замка, и участники естественным образом разделились на четыре группы. Владыки во главе с Дали просвещали, предлагали, приказывали, вещали, командовали. Воины выполняли их веление немедленно и самым грубым образом. Слуги были покорной и исполнительской массой, слепо повинующейся прихотям и причудам, приступам гнева и порывам воинов. Ветреники же то служили, то повелевали, в зависимости от того, какой ритуал предлагали владыки или внушали обстоятельства.

Воины взяли на вооружение дику стратегию ассимиляции. Слуга, вынужденный утратить лицо, должен был беспрекословно повиноваться поработившему его воину, и не было пределов его покорности. Покуда длилось завоевание, он жил по строжайшим правилам, делавшим его игрушкой в руках победителя. Он шагу не мог ступить по собственной инициативе и безропотно терпел побои и пытки. Постепенно он превращался в живой автомат.

Парадоксальным образом владыки могли вести себя как слуги или как воины, с той лишь разницей, что покорность они выказывали по собственному желанию и чисто внешне.

Красота, истина, сострадание — неужели между счастьем и толпой все они сгорали, как пылкие и бесплодные обеты?

От времени до времени структура групп на празднике была то застывшей, то переменчивой. Стали заметны различия и нюансы внутри групп. Среди слуг чеканщики и ювелиры считались выше кузнецов и гранильщиков. На протяжении ночи вводились все новые иерархии. Система стала авторитарнее и в то же время сложнее.

У слуг в расчет брали происхождение. Какой воин привел их в замок? Какой степени дрессуры заслужили они или достигли? На что способны? Каким испытаниям подвергнуты?

Воины от души мучили каждого слугу до последнего предела, на излом. Они не скупились на побои, изощрялись в надругательствах. Когда же цель была достигнута, остальные воины присоединялись к мучителю, чтобы добить поверженную жертву. Однако инициативу бесчинств и поношений они оставляли тому, кто первым сумел сломить слугу.

Отношения между группами определяло насилие. На любое проявление нежности, любви или просто доброго чувства был наложен безмолвный запрет. Только воин мог разделить возлияние с себе подобными. Слуги не имели права пить — разве что им плевали в рот... Воин строго контролировал поведение и даже дыхание каждого слуги, указывал, как ему смотреть, как двигаться. Когда он повелевал подставить губы, или лоно, или сделать определенное движение языком, слуга повиновался как автомат, куда победитель сам его не останавливал. Число слуг по ходу ночи росло, а хозяева и ветреники, когда наступало время выбора, предпочитали служить, а не покорять, и вскоре у каждого воина стало по несколько слуг.

В этой системе никому не полагалось жаловаться на страдания и таить обиду на несправедливость. Воины следили за соблюдением правил всеми поголовно. Они добивались, чтобы каждый считал заслуженным место, которое занимал. Они следили за тем, чтобы эта мысль запечатлелась в умах как очевидность. Когда слуга облизывал воину ноги, он делал это так же старательно, так же усердно, так же сосредоточенно, как и принимал в свое чрево сжатый кулак хозяина. На этой иерархичес-

кой лестнице каждый желал, чтобы с ним обращались сообразно месту в группе, которую он выбрал.

Никто не мог подняться выше. Стать из слуги воином было невозможно — как и из воина владыкой. Ветреники, побыв недолго в победителях, скатывались в разряд слуг и слугами оставались. Когда воины били их, они только повторяли, опустив голову:

— Всякий опыт дается с болью.

Быть может, страдания текли, как струи в поисках других струй? Чтобы слиться в дурмане в одно грязное болото?

Час за часом проходила ночь, и прихоти воинов все множились. Физическая боль, которую они причиняли слугам, казалась им наградой иллюзорной. Им хотелось большего. В то же время слуги, видимо, достигли в боли и унижении какого-то аскетического экстаза. Было похоже, что в разгар пыток им временами открывались инстинктивные отношения. Они могли достичь такого состояния — и смутно осознавали это, — лишь благодаря мукам, причиняемым хозяевами. А ярость воинов подпитывалась тем очевидным фактом, что им это откровение было недоступно. Время шло, воинам и слугам требовалось все больше ярости и насилия, по причинам, парадоксальным образом схожим и противоположным.

Самоотречение слуг воспринималось как отказ, категорический и бесповоротный. Последствия, немедленные и болезненные, были налицо. Но слуги открывали через это неведомый путь и не знали, куда он лежит. Они всецело зависели от жеста зарвавшегося воина, который мог привести от апофеоза страдания к смерти.

Слуги, отрекавшиеся от самих себя и от жизни, являли зрелище, вызывавшее гнев воинов и кару. Иные слуги, не достигшие таких высот, смотрели на своих собратьев с

брезгливостью. Пытались ли они таким образом защититься от того, чему завидовали и что подвергало опасности не только их достоинство и счастье, уже брошенные ими к ногам воинов, но и жизнь?

Тот, кто отрекался от себя, был вынужден заявлять об этом во всеуслышание. У него отнимали душу в пароксизме общего гнева. С этой минуты он больше не мог обратить свой взор на воинов. Он становился трупом. Только его воин обращался к нему, пиная, а он должен был верно истолковывать пинки. Без усталости бродил он по подземелью. Он знал, что ему следует отринуть всякую надежду и принять смерть от своего повелителя. Оставлял ли он чувство на краю пропасти, бросаясь в небытие?

Самори обрил мне голову во второй раз за несколько часов до начала праздника.

— Дали исступленно боготворит оргазм... как будто в нем — первозданный свет. Это страсть мужчины, самца, мне неведомая. Он захочет, чтобы этой ночью совершилось абсолютное преступление... но поскольку оно существует лишь в его фантазии... он потребует сделать его искусственную копию... или вообразить его вслух.

Пока электрическая машинка сновала по моей голове, я вспоминала о Кэнко.

— Можно держаться на поверхности, не научившись плавать, пройти сквозь огонь и не обжечься, упасть в пропасть и не сломать ни единой косточки, без хитростей и без особой отваги, просто дыша, вдыхая и выдыхая, в чистоте.

По некоторым, еще не подтвержденным данным, «пленница» (Долорес Арнаис) и «маркиз» (Хосе Луис Г. Креспо) в настоящее время промышляют торговлей наркотиками.

Из полицейского протокола

На обратном пути Самори рассматривал мой парик. Он надел его на мою обритую голову по окончании праздника. Чтобы зачеркнуть ее? Мой грим он тоже смыл. Чтобы стереть все следы представления?

Совпадал ли прерывистый перестук колес поезда с биением моей крови? С естественным ритмом желания? С жизнью, пронзавшей меня, точно молния? Я смотрела на Самори, сидевшего в купе напротив меня. Я вспоминала, как в каменном мешке карцера он соблюдал и выполнял все обязанности слуги. Почему не сжалился он над своим телом? Считал ли он доблестью дать воинам облить себя мочой и заковать в цепи?

Отчего на празднике посприем и унижением любовались как совершенным творением природы? Удовольствие от самоуничтожения — оказывалось ли оно закодированным инстинктом? Могло ли обернуться новой гранью, волшебной? Фантастической? Страстной? Изможденно замершей в оцепенении вкупе с тревогой?

Иступленное бесчинство в замке прошло три стадии. При первой акты унижения и самоотречения слуг можно было сравнить с уловками, к которым, если верить леген-

дам, прибегали в прошлом иные женщины, чтобы дать волю своим аппетитам, не теряя при этом чести. На второй наградой слуге была его верность. На третьей воин подвергал своего слугу испытанию, чтобы узнать, была ли его покорность телесной или осознанной. Кабала становилась плотским орудием наслаждения. Воин требовал от слуги повиновения не из страсти, не ради его персоны, но вследствие полного разрушения личности.

Дали не боялся высокопарности:

— Милостивые государи, сексуальность за рамками норм, как вагоны первого класса, является привилегией умов эмансипированных или божественно гениальных. Пять веков тому назад некий благочестивый принц на одном празднике приказал раздеться донага пятидесяти придворным дамам. Ползая на четвереньках, они собирали каштаны, которые почтенное собрание бросало на землю. После этого принц одарил тех, что прилюдно показали себя мужественнее других. Четыре века назад самые свободные женщины из знати добровольно подвергались изнасилованию целыми бандами молодых мужчин в лесах, окружавших большие города. Нынешней ночью потоп порока достигнет иных вершин: мы возвестим о Конце Света.

Одна пара прибыла на праздник с опозданием. Когда эти двое миновали сторожевую башню и заглянули в подвал, оба в испуге попятились. Зрелище не отвечало их ожиданиям. Два воина расхохотались.

— А вы что же думали, что вас пригласили сюда на выставку откровенной живописи? Нет, Ваша Светлость, здесь нет картин, здесь жизнь. Вы окружены извращенцами, готовыми использовать слабости хорошо воспитанной инженю вроде вас. Нам как раз требуется Верная Супруга. Я полагаю, вы не совершите глупости и не уйде-

те, поддавшись страху, вместе с мужем... Итак... предлагаю для начала раздеть вас — пусть этим займется ваш супруг, — и передать воинам, чтобы они вас вышколили.

Забавлялась ли недоверчивая супруга? Думала ли, что перед ней разыгрывается театральное представление? Муж ее был словно загипнотизирован. Как искупление ли они приняли это за туманом усердия и отречения?

Поезд мчался к Небесному Своду, и я думала, встретит ли меня Кэнко на перроне.

Два воина методично исследовали тело супруги в поисках позы, которая подошла бы им наилучшим образом. Они приучали к дисциплине ее руки, рот, ноги и, наконец, дыхание. Поворачивала ли в начале этой стадии супруга голову к своему мужу? Хотела ли попросить у него помощи? Муж пятился, вытаращив глаза, как будто хотел вжаться в стену. Никто не мог ей помочь. Теряла ли она мало-помалу способность решать и рассуждать? Воины задавали ей четкий ритм дыхания: они то приостанавливали его, то ускоряли.

— Обратите внимание, милостивые государи, супруга на ваших глазах превратилась в кобылу. Воины надели на нее ярмо и заставили тянуть воз изо всех сил. Смотрите, сударь, как ваша супруга покорила желанием двух воинов. Заметьте, как они обуздали ее движения, ее дыхание, ее волю. Все ее аппетиты — особенно те, о которых вы знать не знаете после многих лет брака, — вся похоть, вся агрессивность, вся самоотверженность, все ее чувства, наконец, укрощены парой воинов, да еще в вашем присутствии. Они могут вить из вашей жены веревки. Теперь, если вы ее позовете, она вас не услышит. Она подчинена грубой силе завоевателей. Они подмяли под себя и тело ее, и душу, чтобы вместе идти в том направлении, которое ей всегда претило. Посмотрите же на

нее, она возрождается в образе послушной кобылки и готова быть оседланной первым встречным вандалом.

Отчего муж плакал? Горькое ли пробуждение, замутненное запоздалыми открытиями, тяготило его?

— Воины, сударь, поработили вашу супругу не просто ради удовольствия досадить ей. Они заставили ее, — поймите это, — забыть, как она мыслит, как ходит, как дышит, как желает. Теперь она делает все, как угодно им. Дисциплина ее лона, рта, рук позволила ей безропотно принять насилие над душой.

Отчего муж по-прежнему плакал? Зачем бил себя деревянной лопаткой? После того как Дали закончил свою речь, никто больше не обращал на беднягу внимания. А супруга и два воина — те и вовсе забыли, что он лежит на полу у выступа стены?

Супруга отрешилась от внешней действительности?

Иногда в Небесном Своде уходила в себя черепаха, втягивая голову и лапы в панцирь. Бежала ли она так из Небесного Свода? Сумела ли Супруга под нажимом воинов отключить свой мозг, импульсы и сообщения которого должны были бы вызвать у нее однозначную реакцию? Оказалась ли она беззащитной? Открыла ли, тем не менее, внутренний мир, доселе неведомый? Воспринимала ли свои фантазмы как постыдные, чтобы полнее ими насладиться? Требовала ли дрессура, чтобы все ее душевные силы были направлены на желание отдаться, и притом — самым мерзким образом? Удалось ли воинам, благодаря этому, полностью подчинить себе как страсти ее, так и внешние органы?

Сколько химер, угодивших в тенета, и сколько иных химер! Сколько запутанных блужданий и прихотливых лабиринтов! Сколько крошечных баек, замкнутых в тусклом хаосе!

Когда Дали прощался с нами, захотелось ли мне склониться перед ним как перед богом? Почему он показался мне близнецом Кэнко?

— Имейте в виду, Барышня, что я пережил вчера, благодаря вашей непорочной медитации, второй медовый месяц. После незабываемого первого, который подарила мне моя возлюбленная супруга, сегодня тому минуло ровно сорок шесть лет, — только ангел мог бы вообразить отношения более идиллические, чем те, что связали нас вчера. Вы догадались, сами того не ведая, что одна капля моей спермы стоит многих слитков золота. Благодаря вашей дерзновенности, достойной средневековой Барышни, я стал героем, когда попросил вас мучить меня. Вы вложили в это столько веры и столько милосердия... А были бы способны вы убить меня, славная Барышня, попроси я вас об этом?... Я чувствую спазмы в паху, вспоминая вашу спокойную строгость... Северный ветер, что дует в этих местах, попутен моим воспоминаниям. Я буду воскрешать в памяти ночь за ночью, онейроидно-платонико-блаженно-райски, мучения, которым вы столь утонченно подвергли меня. Этого потрясения недоставало мне для равновесия.

А для насекомых в Зимнем Саду была ли жизнь лишь чередой насущных надобностей? Какое место занимала в них потребность в пище? Космическая необходимость продолжения рода? Прозрачные нули — была ли в них заключена цепочка неизбежностей без исхода и без возврата?

Вернувшись в Особняк, я обнаружила нарастающую сумятицу, которую географически распространяло волнение калеки:

— Кольцо сжимается! Я слышу, как упадок, словно конь из-за пелены тумана, приближается большими скач-

ками. И такое-то время ты выбрала, чтобы уйти Бог весть куда. Разве ты не видишь, как рушатся наши устои?.. Кто прольет меланхоличную слезу о нас?

Сестры заменили люстры в Особняке простыми лампочками. В полумраке огромных опустевших комнат и длинных коридоров покачивались бледные отсветы на ободранных и ржавых проводах. Узлы, чемоданы, баулы — они выглядели устрашающими скопищами? Это сестры, исполняя приказы калеки, собрали их. Чтобы перечеркнуть упадок? Чтобы защититься путем очищения? Чтобы затмить пособнический свет, разрывавший потемки?

— Где ты была все это время? Еще немного — и ты бы опоздала бежать с нами.

Калека и сестры жили взаперти, не отрываясь от телевизора, в ожидании «Его» кончины. Когда бы это ни произошло, они были готовы вскочить в машину и бежать к границе. Какие роли они играли — трех комедиантов, карикатурно изображающих семейную сцену? Трех могильщиков на погребении в мигающем свете неоновой лампы? Трех заговорщиков, заколовших смерть во время похорон?

— Машина стоит в гараже, бензина у нас хватит, чтобы доехать до границы и много дальше. Остается как раз одно место для тебя. Ты должна ехать с нами. С них станется сотворить с тобой самое страшное только потому, что ты внучка своего деда.

«Он» для калеки — еще до конца своей долгой агонии — не преобразился ли в чистую иллюзию? В любых обстоятельствах и в любом месте — возможно ли примирить непримиримое в обход всякого дуализма?

— Какое-то время я носился с мыслью договориться с ними, примкнуть к их делу... чтобы выжить.

Особняк без мебели выглядел телом с выпущенными внутренностями. Узлы, набитые форменной одеждой, громоздились у двери в парк, сундуки были полны книг, чемоданчики — драгоценностей, ящики — столовых приборов, картонки — шляп, носовых платков и кофейных сервизов. Калека увозил с собой чрево Особняка — чтобы не забыть его?

— Когда настанет час грабежа... им не украсть ничего существенного.

Гараж стал темным храмом. Калека и сестры ходили туда. Почитали они его как место отправления культа? Как черный венец далекого рая без памяти?

— Быдло ждет этой смерти, не понимая того, что вместе с «Ним» погибнет цивилизация! До чего же воздух, которым мы дышим, глуп! Мы так обездолены!

Жизнь калеки и сестер была ограничена общим страхом да подготовкой к бегству. Испуг, паника сделали их бесформенными, безымянными, лишенными всего. Они не могли принять других мер — это ли их мучило?

Столовая заполнялась мусором. Бумаги, которые следовало уничтожить, скапливались в кабинете, груда мебели росла в фонтане парка.

— Надо будет все сжечь, чтобы ничего не попало в руки этим гуннам.

Пустота, в чистейшем бреду, превратилась для этих троих в наполненность. Особняк больше не был ни убежищем, ни жильем, ни кровом, но пустотою без корней. Все трое желали исчезнуть. Не действовать, не существовать — как Пленница?

Пленница той ночью в замке сама подошла ко мне и потерлась своими губами о мои. Маркиз, казалось, удивился этому спонтанному жесту. Пока ее рот касался моего, я смотрела ей в глаза. Устремилась ли она, добро-

вольно и самостоятельно, на дороги, что вели ее прямо к безвозвратному одиночеству? Окружила ли себя непреодолимой стеной, чтобы насладиться сполна собственной изоляцией? Сама ли она выбрала Маркиза и наметила план и систему зависимости, подходившие ей наилучшим образом?

— Я вам противна!

Одна, без иного контакта с миром, кроме актов самопожертвования, к которым принуждал ее — вернее, думал, что принуждает, — Маркиз, мечтала ли она о жизни в заточении? Подобно отшельникам восемь веков назад? Она страстно желала быть замурованной в келье с единственным крошечным окошком. Получать ежедневно лишь самое необходимое, чтобы не умереть от голода и жажды. Злые потемки, запутавшиеся в бездонном мраке, — неужели и они ожидали, что воссияет свет и откроет мирные стихии?

Пленница смотрела в глаза-моего-тела. Мечтала ли она о Бдении? Я приехала в замок без бритвы Пикассо.

— Вам хочется меня убить? Перерезать мне горло бритвой? Я вам противна?.. Я сама себе отвратительна!.. Зрелище моей извращенности отражает извращенность этого мира... Вам хочется перерезать мне горло? Одним ударом!.. Я кажусь вам зловонной, не так ли?

Своим языком она коснулась языка-моего-тела.

— Скажите мне, что я мерзка! Признайте же это!

Ориентировалась ли Пленница в лабиринте своего тела благодаря энергетическим узлам? Почему она хотела навеки остаться затворницей во мраке? Точно в могиле? Сумела бы она, пребывая в заточении, отождествить себя с вечным безмолвием? Медитировать о своем дыхании как носителе речи? Обо всем том, что в нашем теле тяготеет книзу с экскрементами? Об огне, уравнивающем

все? И могла ли Пленница таким образом услышать бие-
ние своего сердца? Проанализировать ток своей крови по
отдельным частям своего тела? Мечтала ли она о столе-
тиях одиночества и тишины? О благодатной и вековой
амнезии, в которую ее измученная душа погрузится при
полыхнувшем свете молнии?

Когда я вернулась к Кэнко, он медитировал и остал-
ся неподвижен, даже разговаривая со мной, под столет-
ней секвойей:

— Тело священо... Оно — источник мироздания и
его отражение... Оно — прямое и непосредственное по-
рождение своей сути...

Лучи рассветного солнца пронзали крону секвойи.
Точно мерцающие сигналы. Они слетали на тело Кэнко,
будто повинуюсь ему.

Убийцу, безразличную к нашей неотступной слежке, интересовал в основном ее дед («калека»). Последний, удрученный концом франкизма и даже опасаясь за свою жизнь, принял решение уехать.

Из полицейского протокола

— Полиция наконец установила, в каком квартале живет убивица. Они нашли писчебумажный магазин, где она покупала тушь. Кроме того, их заинтересовала камея, которая была приколоты к ее блузке, когда она совершила убийство в Кинозале. Официант из Бара описал мне картинку, вырезанную в драгоценном камне брошки, которую он назвал старьем. Как она могла попасть к убивице?

Особняк был основан как город-Государство, не ведавший частной собственности. Калека обладал статусом теократического монарха: он правил и устанавливал законы.

В эпохи радикального инакомыслия небо считалось мужским началом, а земля женским; они соединились, чтобы произвести на свет стихии. Стихии же сделали возможным рождение жизни в Зимнем Саду и в мире *extratimos*. Первенцем этого союза был воздух. И отец, и мать требовали его себе. Небо хотело увести его в свои выси, земля же — удержать, чтобы он способствовал ее плодородию. От их распри и ссор остались следы в виде туч и гроз. Считалось, что вода сама собой родилась из земли путем партеногенеза. Поэтому у самых благоразумных и

осмотрительных видов муравьев яйца оплодотворялись без участия самцов; в их муравейниках были одни только самки во веки веков.

О буйство ветвей, перепутанных и недоступных!

Ласковая вода разлилась по всему миру, образовав реки, ключи, озера, ручьи и потоки. Радостная покорность приказам мироздания влекла за собой неисчислимые блага, согласно гипотезам инакомыслящих. Эта идея поддерживалась также сестрами до тех пор, пока долгая агония не превратила идеализм калеки в иступление:

— В ситуации морального коллапса, которую мы переживаем, все, что знали мы до сих пор, ни к чему. Навдвигается иррациональная, животная сила.

Изобилие, в котором жили прежде, проистекало напрямую от системы и от небес. Это провозглашали все трое: вся известная география была овеяна дыханием богатства. Соблюдение законов превратило Особняк в неприступный бастион, оно же приумножало товары в лавках, наполняло закрома и кладовые. Если верить калеке, даже в самые жалкие лачуги и глинобитные хижины проникал достаток. Мир был прочен в безмолвном постоянстве вещей.

— Мы прожили, сами того не замечая, блистательные годы ликования. Даже чернь в эту светлую пору нашего счастья была хоть и дальней, но родней в большой семье.

Особняк пережил легендарную эпоху, когда все труженики выполняли свою работу и каждый получал часть прибыли. Земли, фермы, сады и огороды приносили доход, и все, работая, почитали их господина и хранителя... Было время — калека помнил и его, — когда все в радости делили трапезы единения, процветания и гармонии, не приемля инкуба и повинуюсь благодати.

— Они все разрушат. Они истребят тех, кто лучше их. Они жестоко отомстят за худшее из поражений — то, что является делом их собственных рук.

В Особняке калека пользовался прерогативами в компенсацию за те опасности, с которыми он сталкивался в борьбе с самыми темными силами. Сестры присутствовали на его пиршествах и участвовали в обрядах, хоть и в скромном качестве служек.

— Варвары осудят нас и заклеят, и, подобно Императору, назначившему консулом своего коня, с них станет вынести смертный приговор Особняку за то, что мы жили в нем.

Самори по возвращении исчез.

— Я не знал... как тебе объяснить?.. Я задним числом устыдился того, что делал в замке. Хотя ты оставалась такой спокойной и хладнокровной... Я тебя шокировал?.. Ты лишь на миг заглянула мне в глаза, когда я был в каменном мешке. А когда ты мучила Дали, я смотрел на тебя. Ты была готова... добить его? А между тем ты, кажется, так им восхищалась! Мы были для тебя бандой извращенцев?

Одно из еретических движений в Небесном Своде связало познание с экскрементами, свет с тьмой, извращение с плодородием. Еретики утверждали, что вследствие этой связи не иссякают реки, зреют плоды, светит солнце и растут деревья.

Рядился ли Самори в извращенца, как птица ищет убежища в гнезде? Исповедовался ли он передо мной? Завоевала ли его рациональная мысль, благодаря этому признанию, самую поэтичную территорию его воображения? Воспарил ли его разум?

— Не знаю, почему я, в который уже раз, выставил себя напоказ таким манером. Этот щен, что лает у меня в животе...

То, что Самори называл своими пороками, — откупоривало ли на деле оно неоткрытые истоки его чувствительности? Освобождало ли из-под стражи самые потаенные его эмоции? Непрочные силы, мерцавшие огнем желания?

— Так ли насыщенно я жил, как мне казалось? Все кратко, все смертно. Послушай меня хорошенько. Я хотел бы переплыть реку и добраться до берега... той страны, откуда не возвращаются... Ты поможешь мне?

А муравьи-пилигримы — искали они бессмертия? Утоляла ли нескончаемая и непрерывная одиссея их жажду эпоса, мифа, легенды?

Самори обретал почву под ногами, когда думал о Бдениях:

— Установлено, что убивица живет в твоём квартале. Писчебумажный магазин, где она приобретала тушь, расположен в двух шагах от твоего дома. Возможно, тот самый, где ты покупаешь себе тетради. Кроме того, полиция обнаружила кое-что в старой записной книжке швейцара Консерватории. Мои догадки о том, что этот бедолага воображал, будто любим убивицей, подтверждаются его собственноручными записями. Полиция готова бросить на это дело все силы теперь, когда у них есть наконец столько улик. В твоём квартале полным-полно легавых.

Калека был вне себя.

— Никогда еще не было в нашем квартале столько полицейских! Эти люди, видно, готовятся сразу перебежать на сторону сброда, когда начнется заварушка. И они оккупируют эту зону, потому что знают: здесь живут люди честные и порядочные.

Был ли бред ему убежищем?

Калека установил с сестрами отношения, зиждущиеся на безграничной преданности. Принеся жертву, он

принимал поклонение. Он мог послужить иллюстрацией к доктрине, связывающей самоотверженность и гордыню. Будучи правителем и законодателем Особняка, он оставил все, что имел. За эту жертву — хотя, в принципе, он принес ее совершенно безвозмездно — ему не могло не воздаться. Искупление же готовили сестры. Это они совершали его туалет заботливо и бережно, старательно мыли самые грязные отверстия его тела, подолгу и со знанием дела массировали, извлекали, благодаря трению и очень горячим ваннам, шлаки, оседавшие в порах его кожи. Одновременно, в силу самого факта своего самопожертвования, калека приобрел над ними неоспоримое превосходство.

— Они разрушат то, что я ценой таких трудов строил столько лет.

Калека давал понять сестрам, что своим покровительством и несказанными щедротами он возвращал им сторицей все, что от них получал. Они, соответственно, чувствовали себя обязанными расточать ему новые дары, улады и услуги, за которые, в свою очередь, причитались новые щедроты, все более духовные. Так он создал цепь, поддерживавшую целостность и жизнедеятельность Особняка, тяготевшего к разорению и заполненного ничемным хламом.

Калека настаивал на неравенстве обмена. Он обладал бесценным сокровищем самоотверженности. Жертвы его, пусть даже виртуальные, не шли ни в какое сравнение с лептой чисто физической, получаемой им от сестер. Иной раз калека даже подчеркивал смехотворность их даров, омовений и кормлений перед высшим величием его альтруизма. Калека ясно давал понять, что готов отдать жизнь, в то время как сестры лишь оказывали простые услуги, а для самопожертвования им требовались совер-

шенно исключительные обстоятельства. Калека, в силу своего предназначения, одаривал воздаяниями, советами, иной раз и карами, опытом, светом знаний. Однако он не оставался равнодушен к тому рвению, с которым за ним ухаживали. Поэтому он просил сестер осенять свои поступки искренностью. Особенно это относилось к промыванию, растиранию и отсасыванию. В этих материях чем больше проходило времени, тем выше ценился дар. Иногда калека сам пресекал оказываемые почести неожиданным вознаграждением.

— Почитай мне вслух!

Чтение он принимал с радостью, как псалом и песнь. Каждая прочитанная и произнесенная одной из сестер фраза доставляла ему неоценимые улады. Он мог подолгу рассуждать о сравнительных достоинствах ласки и чтения вслух. По этой причине он требовал объединения того и другого. При наличии двух неразделимых элементов их союз превращал дары не просто в третью утеху, сумму двух слагаемых, но в качественно иной, высшего порядка акт. Временами, как он сам признавался, он даже не вслушивался в чтение, просто знал, что губы одной из сестер шевелятся, а глаза движутся, и одно это приводило его в восторг, стократ увеличивающий удовольствие, доставляемое руками другой. Быть может, руки были пейзажами? Голос — атмосферой? А вместе они становились стихиями, полными зримых образов для потерявшего ориентир неподвижного человека?

Главным для калеки было чтобы в обеих лептах, трении и чтении, соединились конструктивные элементы всякого дара: намерение, благоговение, чистосердечие.

— Читай помедленнее и чуточку громче.

У чтения обнаруживалось немало общего с питанием. Само собой разумеется, калека в силу своих прихотей или

природной потребности мог принимать ту или иную пищу. В трапезах сестры придерживались строжайших правил. Покуда одна бесконечно бережно и аккуратно вкладывала яство ему в рот, другая не должна была ни на йоту изменять движений своих рук и губ.

— Все это плохо кончится. Мы потеряли всякое достоинство. Включи телевизор, сейчас начнутся передачи.

Обладал ли телевизор галлюцинаторными свойствами? Вызывал ли он у тех, кто его смотрел, изменения в поведении? С какого момента калека сокращал дары сестер в пользу созерцания экрана? На протяжении какого времени дары с обожанием существовали параллельно, сочетаясь? В конечном счете все трое не могли устоять перед чарами чуда техники. Был ли то признак, один из многих, упадка Особняка, по его собственным законам?

— Мы переживаем конец света. Все встало с ног на голову. Как только по телевидению сообщат, что «Он» умер, мы умчимся, как пуля из ружья... ни минуты лишней здесь не останемся!

Трапезы калеки происходили всегда по незыблемому ритуалу. Он опирался головой о подушку, положенную на спинку кресла. Чуть приоткрывал рот, чтобы туда можно было просунуть пищу. Жевал ее очень медленно. Руки его безвольно висели, словно забытые телом. Ноги лежали на другой подушке. Сестры смотрели на калеку в эти минуты, как на алтарь, хранящий два священных огня. Одна давала ему еду и питье, потихоньку утирая уголки губ. Для лучшего постижения процесса калека разъяснял, что это подношение пищи было посланием, которое даровалось огню его рта, как торжественное откровение. Закрыв глаза, он медленно двигал челюстями в знак того, что принимает дар и передает его по назначению. На всем протяжении этих пиршеств вторая се-

стра, присев между его колен, ласкала его, легкими касаниями языка истолковывая мысли калеки. Это была наперсница его тайных желаний. Преданнейшая поверенная его appetitов, посредница его позывов, проводница его вожделений. Без нее подношение пищи, совершаемое ее сестрой, было бы неполным или ущербным. Контакт между двумя священными огнями исключался. Заботам одной сестры был поручен рот, другой — лоно. Два мира — Верхний и Нижний. Две женщины совершали таинство совместно. Благодаря этому ритуалу калека, по его словам, получал силу, мощь, жизнь. Нектар, который высасывала снизу одна из сестер, калека называл напитком бессмертия, космическим соком. Чтобы доказать свою щедрость, он одаривал им сестер. Те совершали помазание, деля его по капле. И, глотая, обе они тоже приобщались благодати. Жертвоприношение и возлияние, как утверждал калека, поддерживали во веки веков цикл галлюцинаторных добродетелей, благодаря которым продолжалась их жизнь.

Чужеродные тела, в неистребимом несозвучии соприкасавшиеся так точно и грубо!

Было ли главным для Кэнко прожить жизнь как один трепет ресниц? В этот столь краткий промежуток времени намеревался ли он быть счастливым?

— Когда я вошел в «конюшню» сумо, то пообещал быть дорогой, ведущей в будущее, и, чтобы добиться этого, жить мужественно и честно.

Убийца, ко всему безучастная, интересовалась, однако, брачными обычаями тараканов.

Из полицейского протокола

Кэнко шел подле меня, просто заполняя пространство.

— Так долго не видеть тебя!.. Три года тому назад ты отсутствовала неделю... она не показалась мне такой долгой... Только когда ты рядом, я живу в полном согласии со всем, что меня окружает.

Кэнко носил на своих плечах привязанный шнурком вышитый наплечник. Внутри его был зашит кусочек дерева с написанной на нем максимой.

— С тобой я веду разговор не только языком своим и разумом, но и глазами, и ушами. Поэтому, когда тебя не было, я видел тебя во сне и думал о тебе в грезах наяву. Я ощущал тебя на расстоянии, пока ты была в замке, всеми своими угасшими чувствами.

Что руководило в Зимнем Саду парами насекомых в их любовных соитиях?

Духовный ли свет другого? Можно ли верить в телепатию?

— Сердце — это центр, излучающий жизнь. Вот почему я вижу тебя, когда ты незрима для моих чувств. Око моего сердца так прозорливо!

Кэнко долго смотрел на меня, не двигаясь. И не думая ни о чем? Могли бы его два глаза, устремленные в мои, всматриваться в меня непрестанно? Вечно?

— Во мне живут два тела. Но когда ты далеко от меня, одно остается в моей мастерской на цинковке, а другое устремляется к тебе. Это мой гонец, я вижу, как оно выходит из моего сердца, чтобы улететь. Оно может вырваться произвольно или же осознанно. Я различаю его, оно кружит и приземляется, зачарованное, там, где ты. Те восемь дней, что ты была в замке, я упражнялся в сумо и играл на флейте. Ты преодолевала путь в пространстве, а я ждал тебя. Я не мог жить, не победив твое отсутствие, я хотел пробраться в твою дальнюю даль.

Почему в Зимнем Саду насекомые в брачный период становились так чувствительны к любовным знакам и сигналам? Быть может, они создавали новую систему ценностей, когда пылко желали? Независимую от всего, чему учились? Неповторимые в триумфе, невозмутимые в сиянии?

Кэнко измышлял контур соединения:

— Когда ты рядом со мной, я достигаю высшей благодати — равновесия. Радость, которую я испытываю, очищает страсть, преображает ее, лишает смертоносного яда. Я чувствую, как с каждым вздохом проникает в мой мозг вдохновение, и я хочу совершать самые прекрасные поступки, быть честнее, благороднее, великодушнее, добродетельнее, научиться лучше любить.

В Зимнем Саду насекомые, способные принимать любовные сигналы на значительном расстоянии, принадлежали к виду, которому был отмерен для жизни очень малый срок. Те же, кому был неведом этот властный и необоримый зов, эта тяга, не имеющая себе равных, напротив, жили многие десятилетия — к примеру, муравьи.

— Никогда я не ощущал такой жалости к другим и к себе самому. Эта жалость родилась из любви. Пока ты была далеко, я чувствовал, как любовь воспаряет к сути своей.

Два таракана, за которыми я наблюдала в Небесном Своде, были очень далеки друг от друга. Самец находился в центре Степи Дискурса, а самка — под фундаментом Храма Сумерек. Когда самец приходил в охоту, его железы выделяли густую липкую жидкость. Было ли то послание, которое он писал на земле? Прельщенная самка, казалось, расшифровывала его тотчас же, словно это была светящаяся вывеска. Она немедля пускалась в путь, стремясь к нему, пренебрегая опасностями. Любовь ли позволяла ей забыть о своей голове, лапках, усиках? Для нее существовало только одно место в Небесном Своде — подле него. Являл ли собой таракан-самец символ самого полного счастья? Путь ее к нему был долог и труден. Могло стать, что на самку нападали хищники или твари, превосходящие силой, но как могла она жить дальше в разлуке с самцом? Она бежала, минуя препятствия, казавшиеся непреодолимыми для маленького тельца самки-тараканихи. Почему так необходимо было ей соединиться с вымечтанным образом? Утратила ли она чувство ответственности? Всякий смысл жизни в качестве особи своего вида? Бежала ли она к экстазу? Своим самоубийственным странствием отрицала ли самое себя? Надеялась ли, преодолевая путь, самореализоваться елико возможно полно? Какая мощь, столь ощутимо хрупкая в пугливости своей!

Жаждал ли Кэнко абсолютной мимолетности?

— Думая о тебе, я понял, что можно отречься от любви из любви же. Это отречение — тоже любовь. У меня было сладостное чувство, будто я перевоплотился в тебя.

Я ощущал тебя столь на меня непохожей! И в то же время столь подобной мне! Ты возвращалась из замка в поезде, и я следовал за тобою метр за метром, на расстоянии. Вместе с тобой я смотрел на убегающий пейзаж, переходя от фантазии к действительности. Мы летели сквозь космическое пространство. Когда у меня уже мутился разум, я нашел точку, место, где ты была тобой, а я — мной. Ты являешь собой абсолютное убежище, сердцевину сердцевин.

Ладонь правой руки Кэнко коснулась моего лба. Потом медленно соскользнула на шею.

— Не твой лоб я ласкаю, но мое небытие, и небытие моих предков, и мужчин и женщин, что жили с животными два миллиона лет назад.

В кругу своих выделений таракан-самец замирал, заняв выжидательную позицию. Самка спешила к нему. Когда она появлялась в Степи Речей, понимал ли он, что недолго ему осталось вздохнуть одному? Ощущал ли запах исступления, рванувшийся к будущему, столь краткому? Столь эфемерному?

Что прельщало Кэнко — апогей мгновения?

— Неравенство между мной и тобой, твое превосходство — не единственный корень моего тобой восхищения... моего обожания. Но оно не должно быть препятствием полному духовному единению.

Когда два таракана были еще далеки друг от друга, превосходило ли желание самца самкино желание? Было ли более пылким? За время пути не перерождалось ли нетерпение самки в укор? В сомнения? В меланхолию? В боль? В отчаяние? Мнилось ли ей на миг во время этого странного странствия, что самец мертв? Был ли он ей необходим? Физически? Духовно? Как особь? Как член группы? Была ли она жертвой наваждения? Противоестественной тяги? Инстинкта? Был ли самец для нее

всем? А она — всем для него? С какого момента ее пути можно было считать, что оба, счастливые и гордые, наконец нашли друг друга?

А Кэнко — упорствовал ли он в своем нетерпении?

— Мне необходимо раствориться в тебе духом, соединить наши сердца и наше знание.

Сколько тысяч самок-тараканих жило в Небесном Своде? Сколько тараканов-самцов? Какой могла быть математически исчислимая вероятность встречи двух тараканов, за которыми я наблюдала? Каковы причины их единственного в своем роде союза? Почему сигнал был воспринят этой самкой и только ею одной? Кто предназначил ее ему? Определил ли это случай? Каким образом? Быть может, мои руки, когда они строили Небесный Свод, повлияли с самого начала, еще до рождения тараканов, на их судьбу? Каким манером? Чего хотел самец от самки, созерцая ее в нескольких сантиметрах от себя, в Степи Речей? Все ее тело? Или только часть? Ее движения? Неподвижность? Ее запах? Едва уловимое шевеление усиков? Смогли бы они осуществить спаривание без любовных уз? Был бы их союз в этом случае шагом назад? Или победой? Как выражалось уважение между двумя тараканами? Быть может, самцу понравилась бы мучительная жестокость насилия? А могло ли существовать наслаждение, вызванное физической удовлетворенностью другого? Как у той овцы, что склоняется не перед камнем, но перед словом?

Кэнко неустанно требовал неисчерпаемой истины:

— Пока я ждал тебя, мне открылось как очевидность, что это ты связала меня любовью против моих же предков. Ты выбрала меня три года назад, когда я приехал на десять дней в этот город, да так здесь и остался. Ты меня покорила. Ты покорила также, сама того не зная,

моего учителя сумо. Иначе он не приказал бы мне отправиться в это путешествие. Рок лежит в основе игры и чар. Учитель был моим духовным отцом: любовь и строгость. «Конюшня» была моим домом, где я жил с духовными братьями, другими борцами сумо. Мы вместе ели из одного котла, вместе спали в одной спальне, вместе тренировались в одном зале. Мы знали, что прославимся и разбогатеет как борцы, но никогда не покинем «конюшню», нашу семью и нашего учителя. И однако же он послал меня сюда... чтобы я узнал тебя! Он знал, что я оставлю сумо, вручу свои жизненные принципы твоему сердцу и получу взамен единственную помощь, которая сможет уберечь меня от разрушения и смерти. Твоя рука ведет меня. Он знал это, и потому ничего не сказал мне. Учитель не наставляет и не советует, он — лишь пример и честность.

Когда самка-тараканиха приблизилась к самцу, она вылизала лужицы его выделений. Содержалось ли в них приворотное зелье? Символизировала ли мимика этой ласки обмен кровью? Сознательно ли оттягивала самка момент улета в иной мир? Минуты ли разочарования переживали они? Или, наоборот, наслаждались ожиданием? Был ли то необходимый этап? Пролог? Начало? Думал ли таракан-самец, что она еще бежит, а самка — что он еще ее ждет? Ощущали они, как нарастает желание? Предчувствовали, что оно пожрет их? Наслаждались преамбулой? Этот густой запах вдруг окутывал их, словно суть, раскрывающая смысл и основы существования?

Самори хотел подлинно растерзанного сердца:

— Ребенком я, играя, обменивался кровью с друзьями. Мы прокалывали друг другу палец. Я знал одного человека, который считал, что если проколоть безымянный палец и уронить несколько капель крови в стакан ви-

на своего сотрапезника, тот выпьет твое сердце. Уста сердца — так называл он этот укол в палец.

Была ли любовь для Кэнко обещанием бессмертия?

— Я хотел бы проникнуть в твое сердце. Остаться взаперти в твоей груди. Чтобы ты была жизнью моей жизни. Чтобы союз был бесконечным. Я отделяю желание от любви, я подавляю его, обуздываю. Я не уничтожаю его, нет... я его исцеляю. Я исповедую целомудрие, когда мое желание питаешь ты. Это суровое воздержание озаряет мою чистоту и открывает путь ко всем духовным радостям. Оно имеет также чувственную сторону; это движущая сила ясновидения и экстаза... и, косвенно, — сладострастия. Ты очищаешь мои инстинкты и направляешь мой дух. Вот почему любовь моя пустила корни глубоко в твое тело. Я чист, ибо знаю, что есть наслаждение.

Два таракана ласкали друг друга усиками. Они смотрели глаза в глаза, расположенные на расстоянии в несколько миллиметров. Сообщались ли им через усики вибрации брюшка? Были ли они заморожены друг другом? Являлся ли каждый для другого единственным в Зимнем Саду? Самым неповторимым живым существом, какое он когда-либо видел? Сколько пар тараканов повторяли до них те же самые жесты? И почему же они все равно переживали этот момент как ни на что не похожий и единственный? Они грезили? Превращали сознание желания, воспламенившего их тела, в неудержимый натиск, а натиск в сознание, и так до бесконечности?

Кэнко устремлялся к соединению без единого зазора:

— Я живу, деля время на твое присутствие и твое отсутствие, между счастьем и надеждой. Предки научили меня скрывать эмоции. Порывая с моим воспитанием, я выхожу в другое измерение и ныряю в любовь.

Таракан-самец приподнимал крылышки, открывая железы, расположенные ближе всего к талии. Раздевался ли он? Распознавала ли самка в этой позе потребность самца в самоидентификации? Самец опускал глаза, подставляя спину и выпячивая брюшко. Хотел ли он этим сказать: «я самка»? «Чтобы привлечь тебя, я феминизируюсь»? Самка же, забираясь на таракана-самца, маскулинизировалась ради любви? Она закидывала лапки на брюшко партнера и упиралась головой в складку между крылышками и спиной. Они воспроизводили позу совокупляющейся пары, только наоборот. В эти несколько мгновений — она на нем, оба замерши в неподвижности, — любили ли они друг друга? Менялись ли ролями, чтобы показать себя слабыми и несовершенными друг перед другом? Жили эти несколько мгновений в единении беспредельном, но зыбком? В подобии? В помолвке наизнанку?

А Кэнко приравнивался к своему настроению:

— Только одно могло бы заставить меня страдать без надежды — невозможность доказать тебе мою любовь. Я ощущаю муки плоти, когда смотрю на тебя. Рабство, которое они сулят, осквернит меня.

Кэнко созерцал меня неотрывно. Предавался ли он химерам? Представлял ли себя секвойей? Равнодушным деревом? Прекрасным лишь потому, что кто-то на него смотрит?

— Я хочу, чтобы ты пошла со мной. Хочу, чтобы мы оба стали странствующими монахами. Я хочу скитаться по миру с тобой.

Кэнко смотрел на меня, всякий раз все больше обращаясь внутрь себя, словно желая полнее прожить каждое мгновение.

— Ты согласна?.. Согласна?.. Правда?.. Ты пойдешь со мной?..

Два таракана в Небесном Своде, сыграв каждый роль противоположного пола, приступили к последнему этапу. Самец вытянул свое брюшко, и оно, извиваясь, втиснулось в брюшко самки. Тут же мощным ударом хвоста он сбросил ее на землю. Два насекомых лежали сцепившись, присосавшись нижними частями. Их головы смотрели в противоположные стороны, пока тельца проникали друг в друга. Быть может, они созерцали небытие? Воздух? Бесконечность? Соединялось ли брюшко с брюшком в силу инстинкта? А головы тем временем грезили, вstopорщив усики? Мирились ли они с концом любовного процесса? Будь они способны говорить, что бы они сказали?.. «Я не хочу этого видеть»?.. Оказались ли они двумя здравомыслящими свидетелями краткого мига исступления и беспощадного рока? И теперь два таракана могли влюбиться лишь в отсутствие жизни? Одна только смерть могла стать счастливым венцом их соития? Любовь, которую они пережили в минуты, предшествующие взаимопроникновению, — была ли она теперь лишь безвозвратной тоской по навеки погашшему свету? Слившись лоно с лоном, два таракана познали суть мимолетности? Их исступление не знало заката, но оборвалось в одночасье? Тельца их содрогались в спазмах агонии? Предчувствовали они, что всякий танец завершается в крови? Знали, что дарить жизнь значит призывать смерть?

Кэнко планировал наше странствие: его путем нам предстояло уйти очень далеко.

Тельца тараканов подрагивали. Если бы им отсекали головы, они и обезглавленные продолжали бы следовать инстинкту в омерзительном ритме мира *extra-muros*.

Дед убийцы («калека») отбыл со своими двумя любовницами и всем скарбом.

Тетрадь не проливает света на подлинные обстоятельства загадочного исчезновения Самори. Неизвестно также, куда скрылись убийца и Кэнко. Следствие продолжается.

Из полицейского протокола

Когда я вернулась в Особняк, сестры привязывали последние баулы веревками к багажнику на крыше машины. Они втискивали их в просветы среди хаотичного нагромождения узлов и чемоданов. Калека руководил их действиями, преобразясь в живое воплощение покорности судьбе. Исчез страх, владевший им в последние недели. Лихорадочная суетливость тоже. Он выглядел потерянным, удрученным, вымотанным, раздавленным.

— «Он» умер. Ты должна уехать с нами. Как-никак ты моя внучка. Не упряжься, здесь тебе нельзя оставаться. Мы уезжаем через четверть часа.

Я знала, что делает Кэнко у себя в мастерской, словно бы видела его своими глазами: он расстелил большое полотнище и шил из него дорожный мешок для нашего странствия.

Калека был опечален, но сестры — просто убиты. Боялись ли они оторваться от корней? Пойти прахом? Они спасались бегством, все трое: зримое рождалось из не имевшего формы, а незримое — из паники. Угроза для них была ужаснее ее исполнения. Быть может, они хотели, якобы заклиная свой страх перед местью и карой,

вернуться к истокам нагими и неимущими? Они уезжали за границу. Навсегда порывали со страной, давшей им жизнь. Потому ли, что в их глазах она стала чудовищем-людоедом? Они покидали свое естество, свое наследие. Путь их лежал на чужбину. Выкорчевали они себя? Назад к центру земли везла их машина-крот-улитка-кенгуру-черепаха-личинка. Дорогой отчаяния без конца и края? К заточению и агонии? Или к возрождению и новой жизни? Давил ли на них воздух, будто собственная натура обуревала из самой их сокровенной сути?

Кэнко открыл дверь мастерской, чтобы выйти, переступил порог и закрыл ее за собой — навсегда. Он был в двух километрах от меня, но я слышала его дыхание, словно он шептал мне на ухо.

В опустевшем особняке остался включенным телевизор. Единственный след жизни калеки, который тот оставил за собой. Его завещание? Экран, казалось, стоял посреди выжженной земли, и его монотонное послание звучало зовом призрака-робота. Он издавал глухой звук на одной ноте. И блестел — как внутренний орган, которому никогда уже не сократиться? Он показал, наконец, что его разнообразие было лишь иллюзией. Телевизионный ящик никогда не был сердцем. Как не был иместилищем моральной или интеллектуальной функции. Он стал мотором без души, но не знал ни тишины, ни покоя. Он был обречен вечно страдать в несозвучии, неразумии и несогласии без конца. Энергия, еще проявлявшаяся на экране, не была ни светом неба, ни светом разума. Прежде он царил как повелитель созерцания и бездействия. Калека и сестры поклонялись аппарату, словно он был центром империи, распространявшим страсти, вожделения и влияния. Его светящийся прямоугольник транслировал каталепсию. На экране наконец остался

только снег, беспрестанный и бесславный, без снежинок, без земли, без неба. Вечный снегопад, не ведавший ни утра, ни ночи, ни красок, ни вдохновения. Он трепетал, заслоняя все завесой дрожащей пыли. То было свидетельство звука и света. Реплика и напоминание: бесконечная бомбежка пустоты.

В фонтане Парка высилась огромным холмом сваленная на поленья мебель Особняка.

Для калеки все свершилось и завершилось:

— Ты горько раскаешься, что не уехала с нами. Не забудь, как только варвары пойдут на штурм дома, ты подожжешь мебель. Пусть им ничего не достанется!

На всем, что служило в Особняке, чтобы хранить вещи, готовить, сидеть или спать, калека и сестры поставили крест. Все эти орудия и предметы, которые, казалось, были неотъемлемой частью комнат, составляющей их органической ткани, превратились в дрова. Все они, бывшие символы внутренней гармонии Особняка, теперь олицетворяли распад и отчужденность. Калека вынес им приговор и обрек в жертву огню.

Кэнко спускался по лестнице своей мастерской. Он шел за мной. Я ощущала, несмотря на расстояние, пульсацию — так его лихорадило.

Парк был разорен. Как будто калека и сестры задались целью вытоптать все, что в прошлом заключало в себе свет, совершенство, сообразность законам Природы. Много лет он был воплощением мира, спокойствия, героизма. Сменяли друг друга времена года, готовя в глубинах природы взрыв красок и плодородия. Тысячи форм раскрашивали, прорисовывали, лепили неуловимое разнообразие мира. Парк был преддверием Небесного Свода. За мусоренный щепками, грязной бумагой и отбросами, залитый водой, он преобразился в картину запустения.

Кэнко шел к Особняку. Я помнила, как он подал мне последнюю чашку чая у себя в мастерской:

— Я соберусь и приду за тобой. Я буду у тебя через два часа, не позже. Мы отправимся в путь немедленно. Возьмем с собой в дорожном мешке только самое необходимое.

Что понимал Кэнко под необходимым?

— Мы с тобой вдвоем! В пути мы отдадимся на волю дыхания мира. Мы будем идти через горы и овраги, дни и ночи, свет и тьму. Мы станем неотъемлемой частью небесных высей и глубин земли. Сейчас мы не можем себе вообразить того, что несравненно. Что знает поденка, живущая одно лишь утро, о том, что есть вечер и ночь? Может ли кузнецик, чей век — одно лето, вообразить себе зиму? Что знает лягушка в своем болоте об океане? Что знает тот, кто не любит, о бесконечности любви? Что знает он о тайнах, окружив себя привычками?

Я пересекла Парк и вошла в Зимний Сад. В Котловине лопались пузыри, волнуя воду. Сидя на циновке, меня ждал Самори в окружении святилищ, пирамид и памятников Небесного Свода, подле Поезда, остановившегося у подножия Могучих Гор. Присутствие Самори нарушило в Небесном Своде покой и порядок зрения, слуха, обоняния, рассудка и ума. То, что знал или думал, будто знает, Самори, не могло подчиниться провидению Небесного Свода.

— Я надеюсь, ты простишь меня... Я не мог ждать ни минуты лишней... Мне надо было тебя увидеть... немедленно. Твой отец и тетки были очень любезны... Они позволили мне подождать тебя здесь. Показали, где ты обычно прячешься... Я взобрался по лесенке... и вот я здесь, изнываю от нетерпения... Полиция вот-вот обнаружит убийцу... комиссар, которому поручено следствие, сказал

мне, что это вопрос нескольких часов. Я позвонил ему, представившись секретарем министра внутренних дел. Он купился, посвятил меня в подробности расследования и поделился своим планом, как поймать ее в западню. А ведь я — я тоже знаю, кто убивица.

Кэнко как мог быстро поспешал к Особняку; ему осталось несколько сотен метров. Я чувствовала его желание, его жар, видела его живот, колышущийся над проспектом, подошвы ног, парящие над дорожным покрытием, улавливала ритм его сердца, его чистую душу в замкнутом кругу. Нарастающий восторг возносил его желание с земли в пространство, на Путь Небесного Свода.

Земля, покрывавшая камео под Знаменем Скрибов, была взрыта, один из леденцов пирамиды сдвинут на несколько миллиметров, на золе, из которой был сложен Холм Невесомого, отпечатался след пальца. Кружевные мушки, испуганные присутствием Самори, замерли — словно прилипли к стеклянной кровле. Платиновые рыбки с тревогой поглядывали на Самори, высовывая из воды головки.

— Я знал это с самого начала. С тех пор, как убивица нанесла первый удар, в Кинозале. Как тебе известно, то преступление взволновало меня... и потрясло. Я пошел в Бар не затем, чтобы вести расследование, — просто из нездорового любопытства. Я хотел узнать хоть немного больше, чем писали в газетах. Один из официантов описал мне брошь-камео, которая была приколота к блузке убивицы. Эта драгоценность привлекла его внимание, и он не скупился на подробности. То был первый и последний раз, когда убивица показалась с ней на людях. Но мне эта брошь знакома, я даже лучше официанта знаю, как она выглядит. Более того, мой дядя когда-то получил ее на рисунке.

Муравьи-фараоны создали общество, в котором сосуществовали три этажа муравейника. Они построили их по образу и подобию трех главных территорий человеческого тела: мозгом был Дворец Эликсира и Бессмертия. Сердцем — красное Поле Битвы, место встреч. Лоном — обнесенный изгородью Луг Труда. Держал ли Самори границы между тремя зонами на замке? Так, чтобы никакая таможня не пропускала из одной в другую? С каким наслаждением скатывался его ум к праздности! Тончайшую нить вытягивал он из тумана.

— В замке ты увидела меня таким, каков я есть, — подстилкой, тряпкой... Какой мне смысл жить?.. Оставаться в этом мире?.. Кто обо мне пожалеет?.. Дядя мой скорее не переживет другой трагедии — иметь такого племянника. Никчемного... Кто вспомнит обо мне, если меня не станет? Чьи губы, которые я целовал, чьи тела, которым принадлежало мое, сохранят хоть знак, хоть след, какую-нибудь память обо мне? Зачем я здесь? В этом мире?

Кэнко пересекал площадь в нескольких десятках метров от Особняка. Я видела его лицо, приближающееся к Небесному Своду, так, будто весь мир замер и оно одно двигалось. Его тело излучало внутренний свет, а свет других вокруг него рассеивал сумрак.

На сколько автономий подразделялась каждая из трех зон тела Самори? Зал Правительства его головы не сообщался с Дворцом Действительности, а Крепость Великого Паяца с Садам Трепещущей Жемчужины. Под его пупком находился Павильон Страсти, разгороженный на несколько обособленных помещений. Непреодолимая стена отделяла их от Башни Меланхолии. В сочленениях его рук и ног, на кончиках пальцев, на сетчатке глаз дежурили часовые в ожидании посланий извне, которые так и

не поступали. Бессмертный-на-Грош жил в Саду События, а Господин Самец, который регулировал и направлял в русло его судьбу, был стражем Амбразуры Селезенки. Неужели в каждом из зданий с его обитателями издавались указы? Запреты? Диктовались свои законы? Власти предержавшие трех зон вторгались во все тайное, интимное? Надзирали? Контролировали? Чинили препятствия? Порывы выплескивались в океан страсти, чтобы кануть, но ведь оставались каналы нежности?

— Мое тело тяготит меня. Будь моя воля, я бы избавился от него, выбросил бы на помойку.

Если посмотреть на Самори внимательно, было заметно бесконечное множество сооружений, буквально покрывавших три зоны его тела. Между бровями располагался Портик Чаяния. В мозгу сепаратно правили в семнадцати дворцах семнадцать Принцев, игнорировавших друг друга. Отроки Приключения носились на коньках туда-сюда по вискам бесцельно и бестолково. Лишь два Тугоухих Императора со своими помощниками Мартышками-Секретаршами могли пропустить вести извне в сердцевину. Принимая их, Императоры звонили в Сказочные Колокола, чтобы очередная весть дошла до Принцев в семнадцати дворцах.

— Я начал расследование по делу убивицы, мои глаза не желали ее видеть, уши — слышать, разум — понимать... Я вел его решительно, ловко и хитроумно, словно какая-то внешняя, неведомая мне сила подталкивала меня... И знаешь? Когда я отвез тебя к Пикассо, мне хотелось... посмотреть, как вы с ним ляжете в постель... увидеть его твоими глазами, голого, незащитного, растерянного. Я мечтал услышать от тебя, как он тебя обнимал, ласкал и целовал, как овладевал тобой... Но вы всю неделю смотрели по вечерам телевизор, а я хотел знать, как

такой человек, гений, совершает этот акт, столь сокровенный и стихийный акт физической любви... На самом деле я послал тебя украсть, а ты и не знала. Прости меня!.. Я хотел знать, как Пикассо пишет свои картины... Из тех же соображений я отвез тебя в замок... на праздник Дали.

Таились ли в теле Самори ядовитые скорпионы? Коварные змеи, подлые шмели, доносившие голове о провинностях лона? Был ли в нем Дворец Чудес, где хранилось никому не доступное снадобье — то, что даровало бессмертие? Не пытался ли Самори вскрыть замок, взломать дверь, незаконно проникнуть за стену, которой он был огорожен? Не считал ли себя достойным его? Воображал ли он, что из Дворца с тысячами слуг путь избранных лежит в Донжон, где от Короля Королей получают они Дар Счастья? Представлял ли он себе бессмертие красивой блестящей каплей, которая — стоило ее коснуться — густела и покрывалась тысячью безобразных морщин? Почему Самори так хотел навеки запечатлеть свое имя в Реестре Бессмертия? В абсурдном безмолвии рода людского?

— Я потерпел неудачу во всем. Я хотел стать гениальным художником, даже если пришлось бы ради этого продать свое тело или душу, пойти на воровство, донос, убийство, плагиат или проституцию. Я отправил тебя на разведку в Усадьбу Пикассо, но не постиг смысла послания. Я не смог его прочесть. А в нем говорилось просто-напросто: «Судьба указывает перстом». Сама того не зная, ты передала мне предостережение. Что бы я ни делал, мне не повернуть эту руку, не заставить перст указать на меня.

Я слышала каждый шаг Кэнко в нескольких метрах, он уже подходил к дверям Особняка. Шаги отдавались гулким эхом, словно проспект лежал под аркадой.

Как дышал Самори? Вдыхая главное, выдыхал его, сохраняя в душе второстепенное? Как проникало дыхание в его тело? Его ритм, его пульс подстраивались, струясь в жилах, от кончика носа до подушечек всех двадцати пальцев? Повторяло ли оно дыхание новорожденного? Зачаточные вдохи и выдохи того, кто не может подняться, стать счастливым, бессмертным? Кто поворачивает вспять течение жизни, но не может умереть?

— Я хочу только одного — смерти.

Быть может, вся энергия Самори прилипла к костному мозгу его скелета? И могла вырваться наружу и проявиться вовне лишь прихотью?

— Три года назад, на другой день после нашего возвращения, Пикассо написал моему дяде. Он не знал, что жить ему осталось лишь семь дней. В его письме речь шла почти исключительно о тебе. Ты произвела на него такое впечатление! С высоты своих девяноста с лишним лет он завороченно созерцал твои пятнадцать. В письме он объяснил моему дяде, что понял, когда решил сделать тебе подарок, что ни одну из его картин ты не оценила бы в полной мере. К тому же он не хотел дарить тебе что-то обыденное. Вот почему ему пришло в голову отдать тебе две вещи, имевшие для него значение в молодости.

Когда Кэнко пришел в Особняк, дверь оказалась закрыта. Я почувствовала его отчаяние, уловила участвовавший ритм дыхания.

— Ты какая-то рассеянная... Не слушаешь, что я тебе говорю... Ты думаешь об этом десятитонном младенце?

Для того ли Самори оскорблял Кэнко, чтобы лучше прозреть собственную натуру? Делал ли гнев его провидцем? Ощущал ли он зов чего-то извне, и вправду ли его извне окликали? Ударил ли хмель ему в голову перед этим хороводом вопросов и ответов? Ему открылось на-

конец то, чего ни глаза его, ни знание не могли ему показать. Погрузившись в себя, облачал ли он в оторопь свою бессонницу?

— Пикассо подарил тебе бритву, которой он в молодые годы брил бороду. Еще он подарил тебе вещь, которая лучше всего символизировала для него пробуждение к творчеству: камео, принадлежавшую его матери... ты знала это?.. Единственное, что у него от нее осталось к девяносто второму году жизни. Он не подарил ее тебе — завещал.

Сестры и калека уехали навсегда. Они заколотили двери Особняка и катили в машине, набитой узлами и свертками, к границе. У входа в навеки запертый ими Особняк Кэнко помедлил. Я чувствовала, что теперь он слышал удары моего сердца. Он старался ориентироваться на них, чтобы добраться до меня, я это знала.

Самори упорствовал в достижении своих превратных целей:

— Я догадался с самого начала. С первого убийства... Бритва, что перерезала горло в Кинозале, — та самая, которой брился Пикассо в молодости, его подарок тебе. А к блузке убивицы была приколот камео матери Пикассо — ее он тоже отдал тебе.

Голос Самори шелестел в Небесном Своде. Домогался ли он сочувствия к себе? Насилия, направленного против себя самого в бескровной одуре тьмы и тревоги?

— Я не позволю, чтобы полиция арестовала тебя, не допущу, чтобы судья вынес тебе приговор. Оставь мне твою сумку... ведь ты в ней носишь бритву, верно?

Самори взял сумочку Бдений. Достал из нее бритву Пикассо. Внимательно рассмотрел ее. Думал ли Самори, что любому дикому зверю, внушающему ужас, можно поклоняться как гению-покровителю?

— Ты убила их всех троих вот этим лезвием. А я между тем все эти недели, зная правду, изо дня в день рассказывал тебе о ходе моего мнимого расследования... и ты проявляла полнейшее равнодушие, почему?

Кэнко обошел Домен в поисках входа в Особняк и в Небесный Свод. Я слышала его шаги за оградой Парка и ощущала его центр равновесия в нескольких сантиметрах от пупка, так, будто он был рядом со мной.

Самори торопливо считал секунды:

— Послушай... Я повернусь к тебе спиной... Как твои жертвы... Мой ворот расстегнут... Возьми же в руки бритву... Прикончи меня!

Когда Кэнко подошел снаружи к ограде Небесного Свода, я услышала сквозь стену его дыхание. Его ритм передался мне.

Были ли уши Самори заложены иллюзиями, а разум одурманен угаром самоубийства? Ударило ли ему в голову слишком долгое ожидание смерти? Ощущал ли он его как жажду, которая была столь остра, что обернулась мечтой?

— Зарежь меня! Покончи со мной! Ни минуты лишней не оставляй меня в живых! Мне слишком больно. Пережь мне горло одним махом... или... иначе... я сделаю это своими собственными руками... здесь, сейчас.

Кэнко разбежался и со всей силы ударился в стену Небесного Свода лопаткой. Зимний Сад содрогнулся до основания и едва устоял.

Самори продолжал безучастно:

— Дай мне бритву... Я не могу ждать больше ни минуты.

Кэнко разбежался во второй раз, всю свою силу и все мастерство борца сумо вложив в эту попытку. Стена зашаталась и рухнула, рассыпавшись на куски. Кэнко спо-

койно расчистил себе дорогу среди пыли и обломков и вышел за Могучие Горы; на плече у него был дорожный мешок, а в руке камень-светоч.

— Идем? — сказал он мне.

И я ответила:

— Да. Идем.

Литературно-художественное издание

ФЕРНАНДО АРРАБАЛЬ
УБИВИЦА
из ЗИМНЕГО САДА

Редактор М.Немцов

Корректор З.Белолуцкая

Компьютерная верстка К.Москалев

ООО «Издательство «Эксмо».

127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5.

Интернет/Home page — www.eksmo.ru

Электронная почта — info@eksmo.ru

Подписано в печать 10.11.2006. Формат 84×108 1/32.

Гарнитура «Литературная». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 13,44.

Тираж 4100 экз. Заказ № 5614.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

Также в серии
ACTUAL

БЕРНАР ДЮ БУШЕРОН
«КОРОТКИЙ ЗМЕЙ»

Москва
2006

BERNARD DU BOUCHERON
COURT SERPENT

Перевод с французского *Элины Войцеховской*

Стало известно, что христиане Новой Фулы, что на крайнем севере мира, пребывают в опасности. Более пятидесяти лет от них нет никаких новостей, и это вызывает сильные опасения за их жизнь и веру. Поэтому аббат Монтанус, чрезвычайный посланник кардинала-архиепископа города Нидароса, спешно пускается в путь на «Коротком Змее» — судне, специально построенном для плавания во льдах...

«Короткий Змей», первый роман Бернара дю Бушерона (р. 1928), сразу же принес своему автору заслуженную славу и Гран-при Французской Академии. Впервые на русском языке.

Copyright © Éditions Gallimard, 2004
Перевод © Э. Войцеховская, 2006
© ООО «Издательство «Эксмо», 2006

1

Он не пал ниц.

Не облобызал перстень.

Ошеломленный величием миссии, он безмолвно принял письма с предписаниями от Кардинала-Архиепископа.

Итак:

Нашему возлюбленному сыну ИНСУЛОМОНТАНУ-СУ¹, аббату Ярма Господня², легату *a latere*³, черному протонотарию⁴, инквизитору ординарному и экстраординарному, Мы, Йохан Эйнар Соккасон, Высокопреосвященнейший Кардинал-Архиепископ Нидароса⁵:

1 Имя аббата в переводе с латыни значит «горно-островной».

2 Такое аббатство клюнийского подчинения имелось в Бургундии (основано в 1115 г.), но здесь название употреблено в нарицательном смысле.

3 Кардинал-легат, папский посланник.

4 Секретарь при консистории (высшая папская коллегия кардиналов).

5 Историческое название норвежского города Тронхейм.

«I. Нам докладывают, что христиане Новой Фулы¹, на Севере мира за отсутствием епископа в епархии ее в Гардаре² и за отсутствием священников в церквях ее, некогда многочисленных и цветущих, пребывают под угрозой возвращения во тьмы неверия. По причине воцарившихся издавна и превосходящих всякую меру холодов, суда, некогда многочисленные, что доставляли им из наших портов все необходимое, больше не достигают их берегов, попадая в плен морских льдов. Среди необходимого, коего они лишены, в том что касается телесных потребностей, находятся пшеница, елей, вино, солод, простые и прочие целебные травы, фризское полотно для капюшонов, топоры простые и обоюдоострые, ножи, лопаты для торфа, прялки и веретена, железо, бечевы судовые и бельевые, лес строительный и корабельный; они ограничены в пище отвратительным мясом тюленей и моржей и постепенно утрачивают искусство кораблестроения, необходимое для того, чтобы вырваться из диких условий, куда погружает их обособленное существование; в итоге эта обособленность лишает их средств выйти из нее, замыкая порочный круг, в коем глаз без промедления усмотрит проделки Лукавого. Что же касается души, бесконечно более ценной, нежели тело, прекращение навигации лишает их возможности принимать посредничество вестников Божьих, в том числе Наше: уже пятьдесят лет ни один епископ не обитал в тех предельных краях; за неимением епископа невоз-

¹ Фула или Туле (лат. Ultima Thule) — в античной традиции, восходящей к мореплавателю Пифею, остров, самая северная из обитаемых земель.

² Главное из основанных викингами гренландских поселений; слово, однокоренное с русским «град».

можно рукополагать новых священников, а из-за отсутствия морских сообщений никто из священников, назначенных Нами, не высаживался на сих берегах. Доносятся слухи, что среди нескольких уцелевших старых священников, рукоположенных во время последних епископов, иные впали в грех отступничества и обращаются к колдовству и чарам более, чем к молитвам; что по примеру этих заблудших священников многочисленны стали христиане, кои отказались от обетов крещения и практикуют под звуки бубнов темное искусство магии — в надежде, что, отказываясь спасать свои души, они получают от Лукавого средства для спасения тел, либо благодаря таянию льдов, что позволит опять проходить судам, либо благодаря приумножению числа морских животных, посредством коего Лукавый покровительствует их охоте. Богу было бы угоднее, чтобы все они умерли в благочестии и восстали одесную Отца, паче чем выживали так, в заблуждениях, что обрекут их, после того как оставят они брентную оболочку, на вечные муки ада. Свидетельства из Исландии, достигшие ушей наших священных предшественников, заставляют опасаться, что сии заброшенные христиане предаются содомии и обмену женами, отец возлежит с дочерью своей, мать с сыном, брат с сестрой, и, далекие от того, чтобы отречься от чудовищного потомства, происходящего от этих преступных сближений, они оказывают ему предпочтение перед тем, что дается им Господом в союзах, кои были бы освящены Церковью, если бы она была еще в состоянии это делать. Рассказывают даже, что в голодные зимы случается им пожирать мертвецов взамен того, чтобы предавать их христианскому погребению.

II. Следуя рекомендации, которую Мы получили от капитула ордена Ярма Господня, равно как от Нашего коадьютора¹ Бьорна Ивара Иварсона, Мы предписываем вам, как по причинам ваших заслуг, так и ваших обстоятельств, отправиться на эти оконечности мира, осведомиться о состоянии христианского народа, оказать ему поддержку словом, не упуская при необходимости наставлений огнем и мечем, и подать Нам по вашем возвращении донесение о том, что вы видели и совершили, с тем что если Нам, равно как Его Величеству Королю, покажется оно достойным и приятным, вы возвратились туда в должности епископа и взяли под начало Гардарскую епархию. Ваши заслуги представились Нам многочисленными и блестящими. Вы Доктор Теологии при капитуле Лунда, обладатель диплома экзорциста из Уппсальского университета, освященный на этот предмет Нами лично в Нашей епархии; преданный делу расследования и искоренения ереси, колдовства и безверия, о чем свидетельствуют ваши труды против мавров и евреев, равно как костры, разожженные вами в Испании, Португалии и во всех полдневных Эстремадурах, где вы были переведены коллегиальным представительством из Ордена Святого Доминика в орден Ярма Господня, в коем доныне и пребываете. Ваше милосердие не ограничивается заботой о заблудших душах посредством отделения их от тел, преступно их приютивших; не довольствуясь потрясанием мечем воздаяния, вы умеете сочетать суровость с мягкостью и участием, как для того, чтобы обращать еретиков и неверных, так и для того, чтобы оказывать помощь жертвам посредством

¹ Помощник и заместитель епископа.

открытия благотворительных заведений, где принимают вдов и подкинутых детей, вплоть до сирот, оставшихся от тех, чье упорствование в безверии было истреблено через ваше посредство. Вы учредили в Нашей епархии и содержите из своих доходов с десятины, перед тем как разделить их с Нами (в чем Мы вас весьма сдержанно укоряем), лепрозорий, который вы навешаете и, не боясь заражения, даруете прокаженным поцелуи, дабы изгнать из смертной оболочки грехи, ответственные за ее убожество; вы даже, не принимая во внимание недовольство народа, отменили использование трещотки во время выходов этих несчастных, после чего самолично разгуливали по улицам города Нашего Нидароса, поигрывая сим приспособлением и покрывшись саваном. Таким образом мы остановили свой выбор на человеке действия, равно как и учения, способном к состраданию, как и к твердости.

Что же до ваших обстоятельств, нам известно, что вам случалось жить в Риме, где в течение долгих лет вы имели возможность пребывать невдалеке от наших Святейших Отцов Григория и Урбана¹ и служить Им. Вы жили во дворце Аскуань-Мадзини на положении близкого друга господина графа д'Аскуаня, французского дворянина, в чьем обществе, помимо языка сих отдаленных народов, вы изучили и нравы, которые, как Нам сказано, сочетают наиболее изысканные нежности с непристойностями наиболее отвратительной мерзости, вплоть до того, что мужи не брезгают приближаться к своим женам, когда те страдают своими недомоганиями, или вплоть до того, что сами они кишат вшами, подхваченными в домах разврата, кои, всякому

¹ Вероятнее всего имеются в виду Папы Григорий XI (1370–1378) и Урбан VI (1378–1389).

известно, в Риме бесчисленны. Из этих французских обычаев вы переняли пристрастие к пище, отличной от ячменной похлебки и соленой селедки, привычных у Нашей паствы; и, для совершенствования ума, помимо благочестивых рукописей из Ватиканских Архивов и тех, что были вам доступны в Равеннском Катехуменате¹, господин граф д'Аскуань позволил вам ознакомиться с великими древними, греками, латинянами и арабами, ибо не существует по-французски сочинений, достойных к прочтению христианином. Кроме того, наречие сие, ежели только годится оно на то, французы согласуют с приписанным им темпераментом; это сочетание твердости в риторике и легкости в умозаключениях, сказано Нам, и формирует их странную участь. В доме господина графа д'Аскуаня жил также некий венецианский адмирал, менее занятый делами религии, нежели созерцанием неба (ибо две эти сферы противостоят друг другу, несмотря на видимое подобие) и изучением механики. Благодаря ему, вы, уже привычный по вашим путешествиям к морским делам, преуспели в искусстве навигации. Именно это обстоятельство в сочетании с вашими заслугами и достоинствами, перечисленными выше, рекомендует вас к Нашему выбору. Ибо наука, позволявшая достичь окончечностей севера во времена отцов наших и дедов, увязла в туманах — тех самых, через кои призвана была пробить путь.

III. И теперь, по всем этим причинам и по другим, которые раскроются, если Нам будет угодно, после вашего возвращения, Мы предписываем вам следующее:

Посредством двенадцати тысяч марок серебром, которые Мы беремся вам перечислить из Нашей капитуль-

¹ Пастырский институт катехумената предназначен для подготовки к крещению взрослых верующих.

ной казны или, если на то будет Наша добрая воля, из Наших доходов по десятине, вы должны построить, согласно искусству наших предков, судно, способное беспрепятственно пересечь Великий Северный океан, по ту сторону Овечьих островов¹, септентриональных² Оркадских островов³ и Исландии, вплоть до Новой Фулы. Это судно должно быть способно противостоять ледяным островам, кои согласно свидетельствам из Исландии и других достойных уважения источников, плавают в прибрежных водах Новой Фулы; ледяным горам, как Нам говорят, откалывающимся от них; наконец, ледяным полям, что сжимают ее с юга и с севера в продолжение трех или даже порою четырех четвертей года; и таким образом, что паче попадет оно в ледовый плен, недвижимое судно могло бы служить вам убежищем вплоть до весеннего ледохода.

Вы осведомитесь о мнениях лучших мастеров, преуспевших в деле кораблестроения, которых сможете вы отыскать в Бергене, Стральзунде, Бремене или Любеке; следя за тем, чтобы привычка иметь дело с большими грузовыми кораблями не препятствовала им сообразовываться с мудростью наших предков, искавших свою безопасность в скорости, а не в размерах судов; следя также за тем, чтобы Верховная Судебная палата Ганзы в ее Особенные Дни⁴ не впала в уныние от осуществления предприятия, участвовать в котором

¹ Имеются в виду Фарерские острова.

² Северных (от *лат.* названия Большой Медведицы «Septemtriones», дословно — «Семь быков»).

³ Оркадские, или Оркнейские острова — группа островов на северной оконечности Шотландии.

⁴ Ганза — торговое объединение северо-немецких городов во главе с Любеком, контролировавшее в XIV—XVI вв. торговлю фактически во всей Европе. Ганзейские съезды назывались *Tag*'и, что значит «дни».

на протяжении длительного времени отказывалась; Мы представили прошение Его Святейшеству Папе, дабы Он предостерег Его Величество Императора, чья повсеместная власть не позволит Ганзе творить препятствия в чем бы то ни было и по каким бы то ни было причинам к помощи, кою милосердие приказывает оказать отдаленным христианам, пусть даже помощь сия способна стать основанием для успешной коммерции. Вы доверите строительство судна, согласуясь с полученными советами, самому известному из корабельных мастеров-плотников в городе Нашем Нида-росе или, за неимением, в Бергене, но вы не станете нанимать на работу ни одного немца, будь то из Гамбурга, из Бремена, из Любека или из Ростока. Мы за-прещаем вам это по трем причинам. Во-первых, немцы имеют привычку грубо командовать, на военный манер, и, кроме того, что такие ухватки плохо приспособлены к церковному миропомазанию, свойственному нашему делу, они рискуют вызвать раздражение плотников, которые есть не солдаты, но мастеровые, тем самым нанося урон качеству их работы. Во-вторых, ежели случится, что при спуске на воду судно даст течь, опрокинется или рассыплется в куски, вследствие пороков конструкции, у Нас не будет возможности настоять на повешении немецкого мастера-плотника, в виду ограниченности Нашей юрисдикции касательно Ганзы. Наконец, в-третьих, искусство кораблестроения наших предков, которое было утрачено в незапамятные времена и которое Мы призываем вас возродить, отличалось деликатностью сборки, а не силой молотков и гвоздей; легкостью сооружений, а не их неуклюжестью; так, что суда скользили поверх волн, вместо того чтобы врезаться в них; и, как Мы верим

благодаря изучению предмета, мастера, достаточно проворного в своем искусстве, дабы возродить, под вашим вдохновением, виртуозность наших отцов, грубый нрав плотника утомит необходимостью бороться с брутальными концепциями и ухватками, усвоенными на верфях Германии. Размер корабля будет достаточным, чтобы нести, помимо вас с вашим скарбом, капитана с боцманом, рулевого, восемь гребцов левого борта и восемь гребцов правого борта, сидящих на сундуках с одеждой и запасом провизии на два месяца плавания. Ежели вы попадете в ледовый плен в месте, удаленном от земли, где вынуждены будете провести зиму, Мы предоставляем вас Божественной милости и вашей сноровке охотника, которые, в совокупности, обеспечат вам пропитание. Вы пойдете на этот риск или на этот выигрыш, зная, насколько опасно перегружать судно, скорость коего должна обеспечить успех вашего предприятия. Вы возьмете также на борт некоторое количество груза, предназначенного христианам, в гости к коим вы направляетесь, дабы облегчить их страдания; вы составите список, оценивая нужды, которые ваше милосердие, равно как Наше, имеют целью удовлетворить. Это милосердие не распространится, между тем, до того, чтобы делать им подарок, из опасений их изнежить и предоставить им думать, что бедствий и нужды самих по себе достаточно, чтобы претендовать на поблажки. Для добрых дел надобно участие обеих сторон, и, поскольку Мы опасаемся, что раскаяние и возвращение к вере окажутся не более, чем средними, вы запомните, что не следует отдавать ваши товары иначе как в обмен, в надлежащих пропорциях, на то, что смогут доставить новообретенные: шкуры медвежьей и лисьей, кость моржовая и нарвалья, амбра из ки-

товых брюх, даягиль медоносный для приготовления наших сладостей и для исцеления наших болезней и прочие подобные полезности.

По возвращении вы немедленно разгрузите товар в Наши кладовые, в возмещение двенадцати тысяч марок серебром, которые Мы вам выдали авансом, за вычетом той части, кою Нам будет угодно ассигновать как бенефиций в пользу ваших учреждений религиозных или благотворительных.

Форма судна и устройство его парусов должны позволить ему, без помощи весел, идти быстрее, чем самые скоростные корабли Ганзы, как по ветру, так и против ветра: ибо именно так плавали наши пращуры. Паче случится, что в море вас атакует какое-нибудь из ганзейских судов, грузовое ли, караульное ли, вы будете сопротивляться во имя Бога, без оглядки на жизни ваших атакующих, ибо вера, спасти которую вы отправляетесь, важнее торговли. Посему вся ваша команда должна быть вооружена и снабжена круглыми щитами, как в древние времена.

Чтобы достичь Гардара на юго-западе Новой Фулы, вы будете следовать заветам наших предков, издавна преданным забвению и напоминаемым ниже. По причине лояльности Ганзе, вы не выйдете из Бергена, из страха спровоцировать зависть и подтолкнуть к преследованию и уничтожению вашего судна. Также не выйдете вы и из города Нашего Нидароса, наводненного шпионами Ганзы и расположенного слишком далеко на севере для нужд надежной навигации. Вы поднимете паруса в Киркезунде, в бухте, защищенной островом Витсё, куда вы организуете доставку сухим или мор-

ским путем припасов, перечисленных в Письмах с Инструкциями. Оттуда вы будете держать курс строго на запад, так чтобы Полярная Звезда всегда находилась на высоте ста двадцати четырех лунных диаметров над горизонтом. Ежели небо окажется слишком светлым, как это случается, Нам говорят, после весеннего равноденствия, вы будете справляться по таблицам Одди¹, Звездного Учителя, незабываемого авторитета, коими наши отцы пользовались, дабы определить высоту, на коей солнце должно находиться в полдень во время пути в Исландию. Итальянский ученый муж, помогающий Нам в этой части Наших предписаний, уверяет Нас, что между весенним равноденствием и летним солнцестоянием и (Мы просим Бога, чтобы вам не представилось случая это наблюдать) летним солнцестоянием и осенним равноденствием вы должны следить, чтобы, согласно этим таблицам, высота солнца в полдень весной равномерно росла от пятидесяти шести солнечных диаметров во время равноденствия до ста двух диаметров во время солнцестояния; и наоборот (да не будет Богу это угодно!), от солнцестояния до равноденствия. Итальянский ученый, самолично продиктовавший эти слова Нашему секретарю, сдержанному и простому монаху из обители Св. Андрея, велит вам заказать по мерке линейку из орехового дерева, замечательно прямую, на коей столяр сделает насечки, обозначающие, от дюжины к дюжине, числа лунных или солнечных диаметров — это одно и то же, — что позволят вам вычислять высоты, держа линейку в вытянутой руке. Паче линейка эта сломается или потеряется, знайте, что если с на-

¹ Одди, известный также как Звездный Одди, по преданию был ирландцем, жившим в X—XI вв. в Исландии и составившим таблицу полуденных высот Солнца для широты северного побережья Исландии.

пряжением вытянуть правую руку, то расстояние от конца вашего большого пальца до конца мизинца будет равно тридцати лунным или солнечным диаметрам; это есть шестая часть квадранта, отмеренного от горизонта до зенита у вас над головой; ученый излагает предмет, не будучи знаком с вами, но предполагая, что сложены вы гармонично. Если солнце слишком высоко, вы направите судно на север; если слишком низко — на юг; и наоборот для Полярной звезды. Вы обогнете Овечьи острова с севера, так, чтобы они были едва видны в хорошую погоду с левого борта; потом вы пройдете югом Исландии, так, чтобы показалось, будто море достигает двух третей ледника Ватнайокулл; потом, следя без перерыва за Полярной Звездой ночью и за солнцем — днем, вы придвинетесь ближе к Новой Фуле; вы рассудите, что вы к ней приблизились, когда, пронизанные холодом, увидите птиц в небе и китов в море. Тогда вы пойдете вдоль берега, оставляя льды с правого борта, пока не обнаружите, за мысом, покрытым высокими горами, Нашу епархиальную церковь в Гардаре, приютившуюся в конце фьорда. Там вы возблагодарите Бога и благословите этот фьорд, дав ему имя святого, на день коего придется ваше прибытие.

...

